Призраки и художники (сборник)

Автор:
Антония Байетт

Призраки и художники (сборник)

Антония Сьюзен Байетт

Большой роман

От автора удостоенного Букеровской премии романа «Обладать», а также «Детской книги» и «Ангелов и насекомых» – второй том полного собрания короткой прозы, своего рода продолжение «Чудес и фантазий», два авторских сборника под одной обложкой. В этих рассказах – «при всей своей кажущейся простоте удивительно многослойных и даже аллегоричных» (Vogue) – «дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия» (Marie Claire). В «Призраках и художниках» кавалерственная дама ордена Британской империи исследует хрупкие связи между поколениями, бездонную пропасть утраты и те ухищрения, на которые мы готовы пойти, чтобы с этой утратой совладать…

Впервые на русском!

Антония Байетт

Призраки и художники (сборник)

A. S. Byatt

SUGAR AND OTHER STORIES

Copyright © A. S. Byatt 1987

THE MATISSE STORIES

Copyright © A. S. Byatt 1993

© С. В. Бранд, перевод, 2017

© Д. М. Бузаджи, перевод, 2017

© О. А. Варшавер, перевод, 2017

© И. В. Зубанова, перевод, 2017

© О. Н. Исаева, перевод, 2017

© М. А. Межуев, перевод, 2017

© О. В. Петрова, перевод, 2017

© А. Д. Псурцева, перевод, 2017

© Д. В. Псурцев, перевод, 2017

© М. И. Талачёва, перевод, 2017

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

Антония Байетт – английская достопримечательность, как Тэтчер, Тауэр и файф-о-клок.

TimeOut

Каждый рассказ у Байетт подобен миниатюрному роману, всякий раз она словно создаст мир заново.

Scotland on Sunday

Эти истории – продукт яркого, характерно безудержного воображения. Стиль Байетт узнается сразу.

Literary Review

Плохо знакомым с творчеством Байетт вполне можно порекомендовать начинать знакомство с этих рассказов – при всей своей кажущейся простоте удивительно многослойных и даже аллегоричных…

Vogue

Выдающиеся истории, смелые и энергичные.

Sunday Times

Пропустить рассказы Байетт было бы преступлением.

Financial Times

Только у Байетт обсуждение сложных философских вопросов может звучать так человечно, тепло и жизненно важно.

Scotsman

Чтение русских писателей многое сообщает о том, что такое роман. Русская классика поражает, и если ты читаешь ее в молодости, кажется, что тебе ничего похожего не написать. Вот почему нельзя ее не читать – она открывает иные горизонты… Я пишу ради языка, и еще – ради сюжета.

А. С. Байетт

Сахарное дело и другие рассказы

Посвящается Майклу Уортону

Расин и вышитая скатерть[1 - Перевод И. Зубановой]

Когда же ей стало ясно, что Марта Крайтон-Уокер – ее антагонист? Эмили нашла это слово для нее гораздо позже, уже когда стала взрослой. Как может ребенок, маленький и робкий, осознавать, что кто-то другой ему именно антагонист? Представить себе злую мачеху или завистливую сестру она еще могла, но антагонист, то есть кто-то, кто противостоит тебе в принципе, отрицает самую твою суть? Нет, она была слишком мала и еще не имела продуманных убеждений. А ведь именно мисс Крайтон-Уокер была призвана вылепить пока бесформенную личность юной Эмили Брей. Можно даже предположить, что мысли, которые зарождались в голове Эмили Брей, внушались ей Мартой Крайтон-Уокер, и отчасти это было именно так; и от этого признать ее антагонистом оказывалось особенно трудно, во всяком случае для Эмили, а возможно, и для них обеих.

* * *

В первый раз Эмили пригляделась к мисс Крайтон-Уокер, когда только попала в эту школу, в первый же вечер. Мисс Крайтон-Уокер собрала весь класс в своей личной гостиной, у очага, при свете огня в камине и керосиновых ламп. Эмили была единственная новенькая: она пришла в школу в середине года, по семейным обстоятельствам (болезнь родственника). Девочкам в классе было по тринадцать лет. Девочек было двадцать восемь, а вместе с Эмили двадцать девять, только Эмили не сразу поняла, почему это важно. Этот вечер у камина мисс Крайтон-Уокер устроила из-за смерти одной из девочек. Та училась в этом классе до прошлого семестра, а потом у нее случился гнойный аппендицит, и она умерла от перитонита во время операции. Умершую девочку звали Джен, но все называли ее Ходжи. «Слышали про Ходжи?» – говорили девочки, подбегая друг к другу поделиться новостью, и в голосе у них звучал одновременно и страх, и какая-то радость, непоколебимая уверенность в собственном бессмертии. Эмили не повезло: она чувствовала, будто она пришла на замену Ходжи, хотя это было совсем не так.

Мисс Крайтон-Уокер раздала всем девочкам по кружке бледного какао и по булочке с сахарной глазурью и велела усесться на ковре вокруг себя. Она тихо заговорила об их общей подруге Ходжи, о том, что они все должны запомнить ее такой, какая та была: полная жизни, готовая поделиться всем с друзьями, веселая. Она понимает: они все потрясены этой потерей, но если когда-нибудь потом им захочется делиться с ней своими тревогами или сожалениями, то она охотно их выслушает. Странное слово «сожаления», кажется, подумала Эмили. Хотя она, пожалуй, уже была согласна с заведомой уверенностью мисс Марты Крайтон-Уокер, что у девочек непременно обнаружатся сожаления. Тринадцатилетние девочки добротой не отличаются, а когда их много, они бывают и жестокими. Так что, какой бы веселостью и жизнерадостностью ни отличалась покойная Ходжи, без сожалений не обойдется.

Мисс Крайтон-Уокер решила рассказать девочкам сказку. Получилась такая мирная сцена: рассказчица в кругу юных лиц, обращенных на нее или опущенных к полу. Эмили Брей сидела и разглядывала мисс Крайтон-Уокер. Безупречно доброжелательная, безгрудая. Туго закрученные серебристые локоны, больше всего похожие на парик адвоката, обрамляют приятное лицо; кожа на лице мягкая, но нигде не обвисшая; выражение неизменно ласковое. Глаза большие и голубые-голубые, уголки губ не опущенные, а совершенно прямые и ровные. К ним сбегаются тонкие морщинки, но без бороздок или

вмятин, а легко и почти незаметно, как наброшенная сеточка для волос. Одета в тот вечер мисс Крайтон-Уокер была в свое обычное платье из гладкой тонкой шерсти с длинными узкими рукавами, с кокеткой в мелкую складочку и круглым отложным белым воротничком, заколотым простой овальной серебряной брошкой. Лицом и фигурой она была неуловимо похожа на девушку – не кокетливую, не насупленную, не грациозную, а просто девушку – и одновременно на опрятную старушку.

Сказка была аллегорическая. Про личинку ручейника, которая обитала на дне пруда и старательно собирала материал для постройки своего нехитрого домика-трубочки: камешки, веточки, травинки – что попало, лишь бы прикрыть свое мягкое безобразное личиночье тельце. Движения ее были нескладные и мучительные, мир вокруг – темный и промозглый. И вот однажды она почувствовала непреодолимое желание вылезти из воды наружу. С болью и усилием длинная, мягкая, бесформенная личинка выкарабкалась из ненужного уже домика и, трепеща и колыхаясь, поползла вверх по высокому стеблю камыша. Когда она выползла на свет и воздух, ее кожица высохла и затвердела, а потом вдруг лопнула – это было очень больно! – и оттуда вылезло существо, рожденное для света и полета, с радужными крылышками и молниеносными движениями.

Мисс Крайтон-Уокер явно наслаждалась своей сказкой, построенной на контрастах. Эмили Брей никак не могла понять – она вообще была в этом смысле непонятливая, это было ее недостатком, – что думают и чувствуют другие девочки. Сама она потом всегда, если думала об умершей Ходжи, воображала ее бесформенной личинкой. Слушая сказку, Эмили представляла себе других девочек маленькими, хотя на самом деле это она была среди них самая маленькая, хилая и худая как спичка. Девочки сидели на полу в пижамах и халатиках, умытые на ночь и мешковатые. Потом, в дортуаре, они будут возбужденно переговариваться, делиться своими мнениями и чувствами, тыкать друг в друга пальцами, упрямо закидывать головы. А здесь они казались притихшими и кроткими. «Мы с вами провели вместе такой уютный вечер, – сказала мисс Крайтон-Уокер. – Это очень хорошо». Эмили Брей поняла, что в комнате среди девочек двое – посторонние. Одна – она сама, не разделяющая настроение остальных. Другая – мисс Крайтон-Уокер, которая так хочет, чтобы их всех объединило это событие.

* * *

По средам и воскресеньям все ученицы школы ходили пешком в центр города на службу в соборе. По средам служба была только для них и для мальчиков из такой же мужской школы: причастие и заутреня. По воскресеньям они становились частью – немалой частью – прихожан на общей службе. Идти до центра города, по его узким улочкам, надо было по особым правилам: хоть и не строем, как обычно ходят организованные группы школьников, но непременно строго по двое, и никак не больше. Когда-то, давным-давно, три легкомысленные девочки так веселились, да, наверное, и толкались, что сбили с ног старушку около аптеки. Старушка упала и поломала свои хрупкие косточки, а девочек отчитали в полиции. Вот и было сделано разумное распоряжение: идти по городу парами. Поэтому каждой девочке было очень важно иметь пару для походов в город, то есть иметь подругу. В этом возрасте девочки выбирают подруг легко и просто – по крайней мере, так казалось Эмили, у которой не было подруги со времени учебы в начальной школе, то есть с тех пор, как проявились ее нежелательные особенности. Но из-за этих походов в город дружба обросла церемониями и ритуалами; все сразу видели, кто с кем дружит и кто с кем раздружился. Эмили вскоре поняла, что в классе есть и «болото»: девочки, у которых нет постоянных пар, – они сходятся по две как попало, не держатся друг за дружку, а, наоборот, поглядывают вполглаза, не подвернется ли вариант получше, если вдруг кто-то с кем-то расстанется. Сначала Эмили думала, что ее место будет среди таких. Она не питала иллюзий, что ее будут любить в классе, и хотела всего лишь существовать тихо и незаметно, но подозревала, что остаться незаметной ей не дадут. Когда объявят результаты годовых экзаменов, всем станет всё про нее ясно. А пока что до нее дошло, какой смысл таится в числе девочек в классе: двадцать девять. Как ни подбирай пары, всегда останется одна лишняя, самая последняя, та, которую все отвергли, как проигравшая в игре, где надо успеть занять стул, когда перестает играть музыка. И этой лишней всегда будет Эмили Брей.

* * *

Казалось бы, взрослые, мудрые наставницы должны были сами понять, что получится, если девочек двадцать девять, – или Эмили могла бы им об этом сказать, напомнить, если уж они сами не понимают. Но как вам наверняка известно, в закрытой школе какие-то вещи объяснить очень трудно, и поэтому неудивительно, что Эмили ни разу не удалось оправдаться, когда ее время от времени отчитывали за то, что она идет с кем-то третьей. (Ходить по улице в одиночку было настолько серьезным нарушением правил, что об этом и подумать было нельзя.) Среды и воскресенья стали для Эмили самыми

страшными днями. Каждый раз во вторник и в субботу ей приходилось мучительно пересиливать себя и с показным безразличием проситься к кому-то в пару.

А когда стали приходить с проверки результаты годовых контрольных работ, то, как и опасалась Эмили, дела пошли еще хуже. Раз за разом с возмутительной легкостью Эмили Брей получала самые высокие баллы из всех в классе, и не по отдельным предметам, а почти по всем, за исключением математики и домоводства. То есть за письменную работу по домоводству она тоже получила высший балл, но практическое рукоделие ее подвело. Оказалось, она просто жутко умная. При этом физически неразвитая, совсем неспортивная. И с ней бесполезно разговаривать про мальчиков, или про то, у кого какая schw?rmerei,[2 - Страсть, обожание (нем.).] или про умопомрачительные туфли, или про интриги в клубе верховой езды. Другие девочки смотрели на нее и видели счеты с костяшками, заключенными в тесную рамку: чик-чик, костяшки налево – костяшки направо, задачку решила, правило запомнила, урок выучила, сочинение написала. Так, по крайней мере, представляла мнение о себе одноклассниц сама Эмили. Она с самого начала понимала, что любить ее не будут, и ее и правда невзлюбили. Не то чтобы не любили всех умных. Например, была в классе такая Флора Марш: спокойно-красивая, высокая, стройная, спортивная, приятная, скромная. Она мечтала выйти замуж, родить шестерых детей и жить в провинции. У Флоры была своя лошадь и была подруга Кэтрин для походов в церковь, они дружили с пятилетнего возраста. Почерк у Флоры был ровный и круглый, завитки ложились на бумагу щедрой синей лентой с аккуратными пробелами. А Эмили Брей писала, скорчившись над листом бумаги и тыча в него перышком ручки. То есть все слова написаны без ошибок, но как-то грязно, с кляксами и помарками, строчки кривые и смазанные, буквы неровные, бесформенные. Когда Эмили заканчивала второй год учебы в этой школе, мисс Крайтон-Уокер выступила перед ними с небольшой речью, посвященной их контрольным. «Я взяла себе за правило, – сказала она перед всем классом, – прочитывать контрольные работы той ученицы, которая получит самый высокий балл. В этом году, как вы все знаете, это Эмили Брей, но я возвращаю их непрочитанными из-за невыносимого злобного почерка». И вообще, такие контрольные, грязные и неопрятные, – это просто позор. Впрочем, если Эмили перепишет всё начисто, то она с удовольствием их прочтет.

Этот свой приговор мисс Крайтон-Уокер, как и всегда, произнесла с легкой улыбкой – улыбкой не презрительной и не извиняющейся, но довольной и даже восхищенной. Чем она восхищалась: тем, как точно выразилась? Чем была довольна: тем, как умно вонзила ядовитый шип? По недостатку жизненного

опыта Эмили этим вопросом не задавалась, но улыбку запомнила точно, запомнила крепко, чтобы когда-нибудь потом, когда станет старше и сильнее, припомнить ее мисс Крайтон-Уокер. Маленькая Эмили еще не знала, что взрослая Эмили внесет эту улыбку в общий счет при подведении окончательных итогов; тем более не знала она, какая цена будет назначена за эту улыбку. Сейчас ей казалось, что она может просто не согласиться с этим приговором. Ну и что, что контрольная с помарками? В школе, может, и думают, что грязь в тетради – это важно, а она, Эмили, так не считает. Она выбрала такую же защиту, как коралловый полип актиния, который прячет свои щупальца, выставляя наружу только мышечную стенку и туго захлопнутое отверстие. Но нужно признать (сменив метафору), что приговор этот тяжелым камнем упал на самое дно ее души да так там и остался.

Эмили отметила про себя это слово: «злобный», точно так же, как она раньше отметила слово «сожаления». Она вспомнила, как писала эти торопливые, неряшливые страницы: сочинение о том, почему медлит Гамлет, и разбор образа Эммы Вудхаус у Джейн Остин. Она писала с удовольствием. Она писала для придуманного ею идеального Читателя. И прекрасно понимала: что-то ей удается, а что-то нет, об одном она судит слишком поверхностно, а другое, наоборот, вдруг понимает глубоко и ясно. Если бы она позволила себе задуматься хотя бы на десять минут, она бы поняла, что никакого такого Читателя вовсе нет – есть только учительница литературы мисс Харвей, а за мисс Харвей стоит мисс Крайтон-Уокер. Но она не позволяла себе задуматься об этом и на десять минут. Если настоящий Читатель не существует, его нужно выдумать – и она его выдумала. И именно «его»: может быть, она представляла его себе не слишком отчетливо, но не сомневалась, что это «он». В женском заведении, где справедливость и правосудие воплощались в фигуре мисс Крайтон-Уокер, доброжелательным и беспристрастным можно было вообразить себе только мужчину. Эмили никак не связывала своего Читателя с теми богами, которым они ходили молиться в собор по воскресеньям. Бог-Судия, Бог-Друг и летучий Бог-Дух водили знакомство с мисс Крайтон-Уокер, и поклоняться им полагалось, пытаясь довести себя до экстаза во время вечерней молитвы в школе, при помощи музыки, и резного камня, и величавых слов, и чувствительных вздохов хора. Эмили не могла взять в толк, почему нужно верить именно в этот миф, а не в Аполлона, или в Одина, или в Будду, или в Митру. Почему считается, что именно такая вера приближает к истине? Она не осознавала, что у нее уже есть вера: вера в Читателя. Становясь старше, Эмили представляла его все отчетливее, все точнее понимала его свойства. Он обладал умом сухим и ясным, был всеведущ, но без ненужной беспредельности. Он знал свое место и не пытался заполонить собой все пространство. У него не было

лица, обнимающих рук или бьющегося сердца; его природа была не Любовь, но Понимание. Когда он являлся ей, среди чернильных капель, в запахе мела и испачканных пальцев, он приносил с собой воздух дальних стран, дыхание разогретого солнцем песка, возбуждающее и чистое, жаркое, но не обжигающее. Можно с полным правом сказать, что Эмили сумела пережить бесконечные годы своего пребывания в этом месте только потому, что ей удалось сохранить веру в своего Читателя.

Начисто переписывать свои экзаменационные работы для мисс Крайтон-Уокер Эмили не стала. Вряд ли от нее этого и ждали, решила она: все, что мисс Крайтон-Уокер хотела сказать по поводу этих работ, уже сказано. Может быть, в этом Эмили была несправедлива по отношению к мисс Крайтон-Уокер, хотя, скорее всего, она рассудила правильно. В конце концов, мисс Крайтон-Уокер заботили вопросы морали, а не «Гамлет» или «Эмма».

Эмили было пятнадцать, когда она придумала, что делать с еженедельными походами в церковь. В городе сохранились многие черты Средневековья, в том числе длинные отрезки городской стены, которая когда-то окружала его кольцом. Стена была из медово-желтого камня; по верху, между двумя рядами зубцов, лежала просторная дорожка, по которой могли бы рядом идти двое. Со стены можно было разглядывать дворик, примыкающий к собору, и кривые узкие улочки старого города, а с другой стороны было видно, как вдали город, закончившись, переходит в простирающуюся до горизонта долину. Эмили обнаружила, что если при выходе из церкви сразу повернуть назад, за угол, а потом нырнуть под стрельчатую арку прохода и подняться по ступенькам, то можно быстрым шагом пройти почти все расстояние до школы по стене, обогнав вереницу девочек, идущих парами по улицам, и спуститься на землю только в самом конце, а там пробежать переулком оставшиеся несколько сотен метров до ворот школьного сада, окруженного своей отдельной стеной с чем-то вроде колючей проволоки сверху. Тот, кому не приходилось годами жить в закрытом учреждении, не может даже представить, как отчаянно нуждается в уединении человек, если он постоянно, день и ночь, находится на людях, если есть, мыться, учиться, спать, даже ходить в туалет (много ли прикрывают тонкие перегородки на металлических стойках?) приходится в присутствии других. Кто-то заметил, что женщины переживают тюремное заключение с себе подобными тяжелее, потому что они по природе своей существа не коллективные. Вот об этом и думала Эмили в короткие желанные минуты одиночества, украдкой пробираясь по высокой городской стене между школой и церковью. Но она почему-то полагала, что побыть одной хочется только ей, а другие – те другие, от давящего присутствия которых она стремилась укрыться, – такой потребности

не испытывают. Только много позже она поняла, что наверняка и они хотели того же, что у каждой из девочек тоже были свои собственные заботы, свои секреты, свои желания, о которых невозможно сказать вслух. Вообще, Эмили о многом успела передумать, торопливо пробегая по стене: о французской грамматике и об Евклиде, о том, что где-то далеко и отдельно от нее на свете живут мужчины, о том, зачем живет на свете она сама.

Постепенно она осмелела и стала пользоваться своим тайным маршрутом постоянно. Где-то на половине пути из трещины стены пробивался куст вербы, – видимо, ветер когда-то занес туда семечко и оно проросло. Эмили навещала вербу каждую неделю: сначала на ветках были тугие красноватые чешуйки, потом они лопнули и из-под них появились серебристо-серые шелковые почки, похожие на блестящий влажный мех, а еще неделю спустя распустились сережки, растопырившиеся, но мягкие, присыпанные ярко-желтым в голубизне. Однажды Эмили стояла и разглядывала эти живые фонарики, как вдруг перед ней возникла мисс Крайтон-Уокер, а рядом с нею еще одна фигура, такая же суровая и непреклонная. Видимо, они обе поднялись по одной из боковых лестниц, которые начинались у подножия стены, где полоса травы сейчас пестрела нарциссами и крокусами. Эмили запомнилось, что они не просто подошли, но выросли как из-под земли. На мисс Крайтон-Уокер было серое драповое пальто с темно-серым каракулевым воротником, отливающим металлическим блеском, и высокая шапка в таких же серебристых каракулевых завитках. Пальто двубортное, с двумя рядами пуговиц на груди, перчатки серые лайковые, высокие, туго зашнурованные ботинки на устойчивых низких каблуках. Мисс Крайтон-Уокер постояла секунду неподвижно, глядя на Эмили и ее цветущую вербу. Вернее, как точно запомнила Эмили, они обе молча стояли, уставившись друг на друга. Потом мисс Крайтон-Уокер подняла руку и указала своей спутнице на что-то поверх стены, возможно на какое-то особенно интересное облако (кто была ее спутница, Эмили совершенно не запомнила), и обе женщины прошли мимо нее, по-прежнему не проронив ни звука. Эмили даже подумала, что ей все это почудилось, и, торопясь вернуться в школу, она спрашивала себя: может, ничего и не было?

* * *

Но оно, конечно, было. В конце дня, на вечерней молитве, мисс Крайтон-Уокер объявила перед всей школой: Эмили Брей на следующий день после обеда должна явиться к ней в кабинет, – то есть Эмили пришлось всю ночь и еще полдня волноваться, что ей теперь скажут и что сделают. Официально

считалось, что в этой школе учениц не наказывают. Не заставляют писать бесконечные прописи, или оставаться в классе после уроков, или мыть пол в туалете. И все-таки все девочки – и не только Эмили Брей – пуще огня боялись провиниться перед мисс Крайтон-Уокер. Она так на тебя посмотрит, что чувствуешь себя последним червяком. И за что? За то, что у тебя в баночке жидкий мед, а не густой, как полагается, за то, что ты пробежала через теннисный корт в ботинках, за то, что улыбалась мальчикам. А уж что будет, если кто-то что-то украдет, или спишет на контрольной, или станет издеваться над младшими, – этого никто себе и представить не мог, да и не пытался. Они ведь ничего такого и не делают. Они, вообще-то, хорошие. Просто мисс Крайтон-Уокер имеет право их судить, и это самое страшное наказание.

* * *

Эмили стояла перед мисс Крайтон-Уокер в ее кабинете. Между ними на столе в серебряной вазе желтел букет весенних цветов. Мисс Крайтон-Уокер в тяжелом кресле с высокой спинкой сидела маленькая и очень прямая. Что ты делала на стене? – спросила она. Мне не с кем вместе ходить в церковь, поэтому я и хожу так, ответила Эмили. Она еще хотела добавить: девочки моих лет, которые учатся в обычных школах и живут дома, ходят по городу днем и это никого не удивляет, что тут такого? – но не сказала больше ничего. Ты самоуверенная и неблагодарная девочка, заявила мисс Крайтон-Уокер. За то время, что ты здесь учишься, ты даже не попыталась по-настоящему стать членом класса. Видимо, ты считаешь, что весь мир существует исключительно для твоего удовольствия. Ты противопоставляешь себя остальным людям. Ты морально порочная. Вот и еще одно слово, вдобавок к остальным, подумала Эмили: «сожаления», «злобность», а теперь еще и «порочная». Так она потом и рассказала Флоре Марш, которая спросила ее, что было в кабинете: Мисс Крайтон-Уокер сказала, что я морально порочная. Не может быть! – не поверила Флора. Еще как может, сказала Эмили. Она и правда так про меня думает.

Можно, конечно, сомневаться, действительно ли мисс Крайтон-Уокер произнесла это слово: «порочная». Правда ли она вот так и сказала это своим серебристым невесомым голосом о стеснительной девочке, которая хотела всего лишь пройти по городу одна, среди белого дня, просто чтобы посмотреть на вербу и подумать о чем-то своем? Может быть, Эмили сама выдумала это слово, чтобы потом похвастаться перед Флорой Марш? Но раз это пришло Эмили в голову, то, видимо, это слово, да и чувство, во время разговора в кабинете витало в воздухе. Нет сомнения, что для мисс Крайтон-Уокер желание Эмили побыть

одной представлялось чем-то нездоровым, злонамеренным, порочным. И вот какой она нашла выход: в ближайшие четыре недели она, мисс Крайтон-Уокер, будет лично ходить от церкви до школы вместе с Эмили Брей. Причем всем своим видом она показывала, что ей это так же неприятно, как и самой Эмили. Это будет наказание для них обеих.

* * *

О чем они могли разговаривать, идя вместе по городу? Нескладная получилась пара: одна еле волочит ноги и не поднимает глаз, другая выступает сдержанно и ровно. Эмили разговоров не затевала: не ее это дело, да и как ни заговори, все будет только хуже (и здесь она, пожалуй, рассудила верно). Мисс Крайтон-Уокер, наверное, могла бы воспользоваться случаем и вызвать Эмили на откровенность, узнать, что у нее на уме, нравится ли ей в школе. Она даже что-то такое иногда говорила, но как бы пересиливая себя, и голос у нее при этом звучал натужно и глухо, будто такой разговор давался ей нелегко. По большей части их моцион все четыре недели происходил в обоюдном молчании: мисс Крайтон-Уокер ритмично отстукивает по тротуару каблуками, как заключенный, которому полагается вышагивать заданное число кругов по тюремному двору, а Эмили старается только не отстать. Но иногда у мисс Крайтон-Уокер вырывались отдельные реплики, и не тем сдавленным принужденным шепотом, которым она пыталась говорить по душам, а голосом ясным и резким. Эти замечания касались внешнего вида Эмили, который вызывал у нее (и я настаиваю на этом слове, очевидном для меня и для Эмили, хотя и признаю, что оно не было произнесено самой Мартой Крайтон-Уокер) – вызывал у нее отвращение. «Эмили, вот уже вторую неделю подряд у тебя грязная шея. На ней серая полоса, как на краю немытой ванны». «У тебя очень нечистая кожа лица, Эмили. Обратись к медсестре, она даст тебе что-нибудь от угревой сыпи. Очевидно, у тебя повышенная активность сальных желез в области носа, или же ты уделяешь совершенно недостаточное внимание уходу за собой. Ты пробовала специальное мыло от прыщей?» «Эмили, какие у тебя жирные волосы. Страшно подумать, как выглядит изнутри твоя шляпа». «Ну-ка, покажи руки. Никогда не могла понять, как это людям не противно грызть ногти, – какое гадкое и бессмысленное занятие. Я гляжу, у тебя пальцы насквозь пропитаны чернилами, как у некоторых бывают в несмываемых пятнах никотина. Даже не знаю, что неприятнее. Кажется, я теперь понимаю, почему у тебя такие грязные тетради: ты же вся просто купаешься в чернилах, это просто поразительно. Сделай милость, прежде чем мы в следующий раз пойдем в церковь, купи себе пемзу и лимон и отчисти пальцы. Да, и вот еще: попроси на кухне нож и отскобли

присохшую грязь с каблуков ботинок. Если ты думаешь, что, замазав ее гуталином, ты от нее избавишься и никто не заметит, то ты ошибаешься. Так еще больше видно, что ты ленивая и неопрятная».

И ведь не то чтобы эти замечания делались совсем без повода. Но неужели об этом нужно было говорить так много, так подробно, так изобретательно? Эмили казалось, что этот маленький носик обнюхивает подмышки ее заношенных маечек и пятна на нижнем белье. Она ждала мисс Крайтон-Уокер у дверей ее кабинета, чтобы в очередной раз идти вместе в церковь, и чувствовала, как от волнения пот начинает течь у нее по спине под драповым пальто и дальше, вниз, по фильдекосовым чулкам, – а вдруг мисс Крайтон-Уокер учует этот запах ее страха? Тело же самой мисс Крайтон-Уокер, казалось, никаких естественных запахов не издавало; так – легкий аромат лаванды и совсем чуть-чуть нафталина.

Мисс Крайтон-Уокер заговаривала с Эмили о ее родственниках. Собственно говоря, родственники Эмили отношения к этой истории не имеют, хотя, наверное, вам интересно про них что-то услышать. По меньшей мере чтобы знать, встанут ли они в этом противостоянии на сторону мисс Крайтон-Уокер – или они смогут хоть что-то противопоставить ее моральному давлению. Эмили Брей училась на стипендию, по программе господдержки. Ее семья жила в Поттерис – районе гончарных мастерских, и в семье было пятеро детей. Отец Эмили был бригадиром рабочих, которые в большой печи обжигали посуду: чайные чашки в ландышах, суповые тарелки со строгим золотым ободком из кинжальных шипов, ядовито-зеленых фарфоровых собачек с разинутым ртом, в которых держат зубные щетки или резинки. Мать до замужества работала учительницей младших классов. Она училась в Хомертонском женском педагогическом колледже в Кембридже, и там у нее появилась мечта, чтобы ее дети учились в Кембриджском университете. Эмили была самой старшей из детей, а второй ребенок, Мартин, родился дауном. Мать решила, что Мартин – заслуженное наказание за ее гордыню, и любила его самоотверженно, больше других детей. На троих младших она почти не обращала внимания. Эмили относилась к их возне и писку примерно с той же брезгливостью, какую мисс Крайтон-Уокер испытывала к ней, а может быть, и ко всем девочкам. Собственно, из всего этого важны только две вещи: постоянное чувство вины, которое Эмили унаследовала от матери, с ее недолговечными мечтами о лучшем будущем для своих детей, и то, что в семье был Мартин.

Про Мартина мисс Крайтон-Уокер, конечно, знала. Отчасти из-за него Эмили и дали стипендию: семья, нуждающаяся в социальной поддержке. У школы была квота на прием девочек из таких семей, даже без учета успеваемости. И если уж мисс Крайтон-Уокер готова была заводить с Эмили разговор, то именно о Мартине. Расскажи мне, пожалуйста, о своих братьях и сестрах, начала она как-то, и Эмили перечислила: Мартину тринадцать лет, Лорне десять, Гарет восемь, Аманде пять. Ты, наверное, скучаешь по ним, спросила мисс Крайтон-Уокер, а Эмили ответила: да нет, не очень, она же бывает дома на каникулах, младшие очень шумные, мешают заниматься. Но ведь ты же любишь их, не отставала мисс Крайтон-Уокер, и голос у нее перехватывало от стремления говорить по душам, ты же, наверное, переживаешь, что ты для них уже как бы немного чужая? Эмили действительно чувствовала себя чужой в шумной и тесной семейной кухне, но больше тревожило и смущало ее отчуждение матери, которая думала только о Мартине. Впрочем, Эмили догадывалась (и совершенно правильно), что мисс Крайтон-Уокер имеет в виду совсем другое: что она ощущает себя отделенной от своей семьи учебой в престижной школе, что винит себя за то, что не помогает маме. Эмили рассказала, как она научила сестренку Аманду читать, буквально за две недели, и услышала от мисс Крайтон-Уокер: я замечаю, что ты не упоминаешь о Мартине. Тебе неловко о нем говорить, ты его стыдишься? Тебе ни в коем случае не следует стыдиться болезни твоего брата, сказала мисс Крайтон-Уокер (которая стыдилась, видя у Эмили чернила на пальцах или грязь на ботинках), нельзя стыдиться своих родных. Я его люблю, сказала Эмили. Она и правда его любила, качала на руках и пела ему песенки, когда он был маленький, терпела, когда он рылся в вещах на ее половине комнаты, чертил каракули в ее тетрадях, топил в ванне ее книжки. Она вспомнила, как он медленно и благодушно улыбается и подмигивает. Мы все его любим, сказала она. Тебе не следует его стыдиться, снова сказала мисс Крайтон-Уокер.

* * *

Бывало, мисс Крайтон-Уокер ненадолго отбрасывала свою строгость. В школьном распорядке случались особые дни, когда она выступала в традиционной роли, – например, каждый год на Хеллоуин она рассказывала ученицам историю про привидения. Все собирались в школьной столовой, среди голых стен, где в двух сотнях пустотелых тыкв, прорезанных в виде ухмыляющихся голов, горели две сотни свечей. Накануне девочки часами сидели и вырезали тыквы – сначала они потихоньку жевали кусочки сладкой мякоти, потом уже смотреть на нее не могли. И после этого во всей школе много дней пахло, как в коровнике: запах

подгоревшей тыквы, опаленной свечами во время страшного рассказа, смешивался с терпким запахом сырых тыквенных корок.

Час перед рассказом был отведен на ежегодный карнавал: в простынях или вязаных паучьих сетях, с нетопырьми крыльями за спиной или с бумажными косточками скелета на трико, девочкам разрешалось с громкими криками побегать по темному саду. Историю мисс Крайтон-Уокер рассказывала неправдоподобную: про встречу призрака коровы и римского центуриона в священной роще, посреди которой стояли роскошные старинные качели. Из истории следовало, что всякий, кто встретит призрака белой коровы, исчезнет, как исчез в свое время центурион; хотя он-то исчез не до конца, и среди деревьев рощи можно и по сию пору уловить следы его присутствия: блик от шлема, шорох подола кожаной рубахи под доспехом. Когда мисс Крайтон-Уокер в очередной раз рассказывала эту историю – которой, честно сказать, недоставало увлекательности и отчетливой кульминации, – по залу пробегал смешок. Девочки давно придумали, что мисс Крайтон-Уокер по ночам тайком качается на этих качелях посреди рощи в полной наготе. Эмили сама слышала, как мисс Крайтон-Уокер заявила группе учениц, что она перед сном любит посидеть у себя в комнате на коврике перед камином совершенно без одежды. Очень приятно чувствовать, как твою кожу обвевает воздух, говорила она, благостно сложив руки домиком. Это естественно и приятно. Эмили не знала, на чем основана коллективная фантазия о том, что мисс Крайтон-Уокер по ночам нагишом качается на качелях в саду, – может быть, она когда-то сказала девочкам, что ей бы этого хотелось, что было бы славно и радостно рассекать темный воздух ничем не обремененным телом, касаться нижних ветвей густых деревьев сада голыми пальцами ног, чувствовать, как прохлада струится по тебе сверху донизу. Так или иначе, теперь среди девочек гуляли сразу несколько рассказов о том, что кто-то своими глазами видел мисс Крайтон-Уокер за этим занятием, наблюдал, как ее молочно-белая фигура раскачивается взад и вперед. Эмили представляла себе эту картину гораздо яснее, чем хеллоуинскую историю про корову-призрака и центуриона: лунно-белое лицо и неподвижные букли, в которых даже волосок не шевельнется. Тяжелые, мощные качели в воображении Эмили были похожи на виселицу. А сам вечер при свечах смутно напоминал ей первый день в школе, собрание в комнате мисс Крайтон-Уокер и аллегории на тему смерти Ходжи.

Первые признаки интереса и волнения, направленного на массу пока еще неразличимых мальчиков из соседней мужской школы, вызвали у мисс Крайтон-Уокер приступ лихорадочного противодействия. Поговаривали, что при прежней, более либеральной начальнице мальчикам разрешалось провожать девочек из

церкви до школы, но при нынешней об этом никто не посмел бы и заикнуться. Впрочем, Эмили краем уха слышала, что некоторые девочки запрет нарушали. Сама Эмили пока что не выделяла никого из толпы мальчиков. Она была влюблена в Бенедикта, в Пьера Безухова, в Макса Рейвенскара, в мистера Найтли.[3 - Персонажи произведений У. Шекспира, Л. Толстого, Дж. Хейер, Дж. Остин. (Здесь и далее примеч. перев.)] Раз в год в женской школе устраивался бал, куда мальчиков привозили на нескольких автобусах. Они кучками жались у стены, молчали, прятали влажные ладони. Отменить бал мисс Крайтон-Уокер не могла: это была старинная традиция, к тому же директор мужской школы и члены попечительского совета одобряли это проявление терпимости в образовательном процессе. Но она возражала. Собирая девочек на ежесубботние поучения, она неделю за неделей предупреждала их о подстерегающих опасностях, правда было не совсем понятно каких. В предвыпускном классе она так и заявила, что, если мальчик к девочке слишком прижимается или крепко ее обнимает, девочка должна спокойным тоном сказать: «Не присесть ли нам до конца этого танца?» Девочки держались за животики от смеха, просто катались по своим кроватям в дортуаре и на все лады повторяли этот mot,[4 - Афоризм, острота (фр.).] в точности воспроизводя голос и интонации мисс Крайтон-Уокер (в умелицах точно пародировать мисс Крайтон-Уокер недостатка не было). Они начищали свои цветные туфли-лодочки, огненно-красные или переливчато-синие, перебирали жесткие складки широченных юбок из шуршащей тафты, которые собирались надеть с обманчиво-скромными шелковыми блузками и тугими широкими поясами. Эмили запомнилось и потом многие годы вспоминалось, что в борьбе против всяческих сексуальных поползновений и намеков на возбуждение мисс Крайтон-Уокер больше всего нападала на использование особами женского пола бритвы, – у нее получалось целое исчерпывающее изыскание, система научных доказательств того, насколько это непривлекательно и противоестественно. Произнести слово «подмышки» было выше сил мисс Крайтон-Уокер, поэтому она долго, подробно и убедительно рассуждала о том, как плохо влияет на кожу частое бритье ног: «Я прекрасно знаю, что после того, как сбрит естественный мягкий пушок, отрастает отвратительная темная щетина, и ее приходится сбривать все чаще и чаще. Спросите любого садовника, и он вам скажет, что после скашивания травы она растет гуще и грубее. Я прошу девочек, которые привезли с собой бритвы, отослать их домой и попросить родителей больше их сюда не присылать». А еще перед балом она несколько недель рассуждала о вреде дезодорантов, о том, что молодым девушкам они не нужны и что отдаленные последствия длительного воздействия химических веществ на нежную кожу еще не изучены. А если девочки боятся, что им будет слишком жарко, то всегда можно слегка припудрить отдельные места тальком.

Я не стану описывать бал. Он не принес радости большинству из них, да и как могло быть иначе? Они стояли вдоль серых стен школьного зала, девочки с одной стороны, мальчики с другой, не перемешиваясь. С Эмили в этот день не произошло ничего интересного, да она в глубине души ни на что и не надеялась. Бал быстро стерся из ее памяти, а вот небывалое волнение мисс Крайтон-Уокер, ее курьезное сравнение бритвы с газонокосилкой, наоборот, запомнилось и стало одним из ярких и жгучих впечатлений времен учебы в школе. С годами к этим мыслям примешались размышления самой Эмили о том, какие образы вызывают в воображении названия средств для эпиляции, и все это вместе связалось с мысленной картинкой обнаженного безволосого тела мисс Крайтон-Уокер, раскачивающегося на качелях в лунном свете. «Вит», «Иммак», «Нэйр». В то время, когда случился этот бал с подпиранием стенок, Эмили как раз впервые распробовала то наслаждение, которое можно получить, внимательно вслушиваясь в слова. Название «Нэйр» почему-то напомнило ей описание чешуйчатого тела Сатаны у Мильтона в «Потерянном рае». Английское «Вит» звучало похоже на французское слово «быстрый», хотя и не так стремительно и деловито. Слово «Иммак» особенно радовало в связи с мисс Крайтон-Уокер: по-латыни maculata значит «пятнистая, грязная», а immaculata, наоборот, «незапятнанная, непорочная», как в выражении «непорочное зачатие», – причем Эмили учили, что это относится к безгрешному зачатию самой Богоматери, а не к самостоятельному, без участия мужчины, зачатию Сына. Увещевания мисс Крайтон-Уокер привели только к тому, что девочки в дортуаре болтали про действие «Вит»: говорили, что у него «мерзкий запах – просто ужас» и что с кожи после этого приходится смывать отвратительную вонючую жижу с волосами. Но бритвы домой никто не отослал. А про мисс Крайтон-Уокер все дружно решили, что у нее на теле так мало волос, что она ничего в этом не понимает.

А с другой стороны, буквально в то же время был Расин. Ведь правда смешно, что мисс Крайтон-Уокер одновременно запрещала ученицам пользоваться бритвами и поощряла чтение «Федры»? Смешно. Да что там – эти же самые девочки уже были знакомы с предательскими восклицаниями преданной любимым безумной Офелии. «Клянусь Христом, Святым Крестом, – мерзавцы эти хваты. Где б ни достать – им только б взять, и будь они прокляты!»[5 - Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Действие IV, сцена 5. Перев. Н. Маклакова (1880).] Из всей этой песенки особенно мучительно въедалось в память словечко «хват», может быть, потому, что оно снова возникает у Шекспира в словах Яго: «Сию минуту черный хват-баран бесчестит вашу белую овечку» (Дездемону). Иди в монастырь, сказал Гамлет. И вот она, Эмили, в монастыре, из которого нет выхода, окруженная шепотом оглушительных слов, то нежных, то грязных, и она

должна их изучать. Но я не это хотела сказать о Расине. Шекспир вошел в жизнь Эмили постепенно, к нему она привыкла, он всегда был рядом. А Расин обрушился на нее внезапно. Но я опять не про то.

Только представьте себе: двадцать девочек (неужели их было так много?) на уроке французского продвинутого уровня. Перед каждой лежит похожий, если и не совсем одинаковый тоненький томик в зеленоватой обложке, слегка подержанный, слегка запачканный. Если быстро пролистать страницы, то ничего привлекательного: столбики ровных, как солдаты в строю, рифмованных двустиший, которые раздражают и тех из них, кто любит поэзию, и тех, кто к ней равнодушен. Сюжет стоит на месте, ничего не происходит. Длиннющие монологи, никакого обмена репликами, словесных дуэлей. «Федра». Учительница французского рассказала им, что Расин написал свою пьесу по мотивам Еврипидова «Ипполита» и что он изменил сюжет, введя в него новый персонаж, девушку по имени Арикия, в которую Ипполит должен влюбиться. Рассказать про пьесу Еврипида учительница нужным не посчитала, хотя они ее не знали. Они записали: Ипполит, Еврипид, Арикия. Она сказала им, что в пьесе соблюдаются три единства классицистской драмы, объяснила, что это значит, и они записали: Единство времени = один день. Единство места = одно место. Единство действия = одна сюжетная линия. Учительница не сочла нужным поговорить о том, как эти ограничения могут отразиться на воображаемом мире пьесы. Вместо этого она без большого энтузиазма и даже с некоторым презрением объяснила только самый механизм. Получилось, что греки, а с ними и французы, какие-то дети, которые непонятно зачем устанавливают для себя ненужные правила, ограничивающие простор фантазии.

Девочкам было неловко читать вслух по-французски эти страстные рифмованные строчки. Поначалу Эмили тоже стеснялась и тоже не могла преодолеть оцепенение. Позже, когда она втайне полюбила безумные хитросплетения расиновского мира, ей стало казаться, что оценила его она одна. Как я уже говорила, умение представить себе, что думают и чувствуют другие девочки, не входило в число талантов Эмили. В мире Расина всех действующих лиц разрывают противоречивые страсти, неуемные и необъятные, грозящие поглотить всю вселенную, хлещущие через край и затопляющие весь мир вокруг. Страсть их не знает предела, кровь в их жилах кипит и обжигает, а сверху на них высшим судией взирает раскаленное солнце. И все они сплетены в один великолепный и трагический узел, все разрывают друг друга на части в едином безупречном танце, где каждый шаг предопределен, прекрасен и гибелен. В этом мире героям назначены великие и трагические судьбы, которые и их личная судьба, и что-то неизмеримо более высокое. Любовь Федры к

Ипполиту, совершенно противоестественная, искорежившая весь ее мир, – абсолютно неотвратимая, неодолимая сила, подобная наводнению, пожару или извержению вулкана. Искусство Расина изображает мир чудовищного извращения и хаоса, но при этом вмещает его в строжайшие рамки форм и ограничений, в закрытый расчисленный мир классицистской трагедии с ее предписанным правилами диалогом, в гибкую, но неразрушимо прочную, сплошную сверкающую стальную сеть упорядоченного звенящего стиха. В этом мире поэт вступает в диковинный сговор со своим Читателем, и его искусство, подобно решетке, отделяет зрителя от наводящего ужас метания персонажей. Это суровое и взрослое искусство, думала Эмили, которая очень мало знала о взрослых, но была уверена, что они не похожи на мисс Крайтон-Уокер и что их заботы и тревоги не такие, как у ее усталой и измотанной матери. Ее Читатель был взрослым. Ее Читатель с расиновской безжалостной ясностью – но вместе с тем и с расиновским бесстрастным сочувствием – видел, на что способны люди и как далеко они могут зайти.

* * *

После первоапрельской шалости мисс Крайтон-Уокер заявила, что она от девочек такого никак не ожидала. Никто, по крайней мере никто из знакомых Эмили, не знал, откуда пошла эта затея. Все хихикали и перешептывались; передашь секретное сообщение – и через некоторое время слышишь то же самое от другой, в приукрашенной форме. Скорее всего, мысль пришла в голову мальчику с девочкой, а возможно, и нескольким парам, сумевшим все-таки познакомиться на том нескладном балу, где большинство стояли вдоль стенок. Может быть, кто-то с кем-то действительно просидел на скамейке во время вальса, как советовала мисс Крайтон-Уокер. Так или иначе, все получили инструкцию: в воскресенье 1 апреля в церкви всем мальчикам сесть на места девочек, и наоборот. Причем не перемешиваться, а поменяться местами всем сразу: с правой стороны от прохода пересесть на левую, а с левой на правую. Что это должно было означать, неизвестно, но всем девочкам и мальчикам эта шутка показалась чрезвычайно тонкой и остроумной, настоящим воплощением принципа первоапрельской путаницы и беспорядка. Самые смелые специально пришли в церковь заранее и торжественно расположились не на тех скамьях, остальные покорно, как овечки, последовали их примеру. Чтобы показать, что они не пытаются вести себя непочтительно по отношению к Богу, от начала до конца службы все молились с небывалым рвением и набожностью, истово отвечали на возгласы священника и ничуточки не ерзали на скамьях. Викарий только поднял брови, потом благосклонно улыбнулся и провел всю службу без

всякого упоминания о перемене мест присутствующих.

Мисс Крайтон-Уокер был поражена – или оскорблена – до глубины души. Как будто (но это сравнение пришло Эмили уже через много лет) произошла какая-то ритуальная травестия, дионисийское переодевание Пенфея в женские одежды для отдачи его на растерзание вакханкам. Впрочем, аналогия неточна: страдание мисс Крайтон-Уокер было скорее пуритански целомудренным. Ее потрясло, что ее саму и заведение, ею возглавляемое, выставили на посмешище перед лицом врага, – по крайней мере, так она это восприняла. На следующий день за завтраком она обратилась к ученицам с короткой речью ледяным тоном, и в этой речи, Эмили помнила точно, не было ни слова об оскорблении церкви. Не было и презрительных язвящих замечаний в адрес девочек: она была слишком для этого удручена. Она даже никак не могла начать: «Случилось нечто из ряда вон выходящее… Имело место происшествие… Вы все знаете, о чем я хочу сказать», пока наконец не перешла к тому, что будет сделано во искупление совершенного греха. Вот тут голос ее обрел силу и ясность.

– Из-за того что вы сделали, – объявила она, – я буду стоять здесь перед вами во время сегодняшнего завтрака, обеда и ужина. Я совсем не буду принимать пищи. Вы можете смотреть на меня, пока едите, и думать о том, что вы сделали.

* * *

Думали ли они об этом? Эмили, как я уже говорила, мысли других читать не умела. Вот и сейчас, во время этого странного действа покаяния за чужой грех, она не понимала, что думают девочки. Может, им смешно? Или стыдно и тревожно? Ели они в этот день молча, усердно стуча вилками по тарелкам с картофельно-мясной запеканкой, выскребая ложками металлические миски с неизменным заварным кремом, а эта маленькая фигурка, похожая на куклу, стояла перед ними, нелепая и неумолимая, со сжатыми тонкими губами и неподвижным лицом, обрамленным безупречно ровными локонами, как судейским париком. Реакция самой Эмили была двойственная – позже она поймет, что в этом-то и был весь мертвящий ужас. Умом она понимала, что мисс Крайтон-Уокер ведет себя неприлично и несообразно. А чувство, тяжелое и давящее, твердило ей, что она своим поведением действительно жестоко обидела мисс Крайтон-Уокер, оскорбила в лучших чувствах, что эта вина будет впредь неизбывной и что мисс Крайтон-Уокер теперь усугубляет эту вину своим искуплением. Мисс Крайтон-Уокер расплачивалась за грех, совершенный Эмили,

не ведавшей о том, что это грех. Эмили ничего не понимала, кроме того, что она виновна. Это была ловушка, и выхода из нее не было.

* * *

Когда наступила пора выпускных школьных экзаменов, Эмили сильно переменилась, и в сторону, которая, возможно, вам не понравится. Приближается время, думала она, когда ее знания и умения будут подвергнуты публичной проверке и оценке, а пока что ее за них всё больше осуждают, причем не только одноклассницы, но и мисс Крайтон-Уокер. Школа считалась довольно сильной, но руководство всегда настойчиво заявляло, что успеваемость – это не главное и что школа стремится развивать в девочках другие качества: организаторские способности, дух коллективизма, готовность помочь ближнему и быть полезной людям и так далее. Некоторые выпускницы поступали в университет, однако ими не особенно гордились, даже не слишком охотно об этом упоминали. Но Эмили знала, что этот путь на волю существует. В конце тоннеля – который она отчетливо представляла себе (скажем так, потому что метафора никогда не должна лежать мертвым грузом) как извилистую, тесную, гибкую трубу, по которой она всеми силами старается проползти туда, где смутно и искаженно виднеется выход, – в конце тоннеля был, должен был быть, свет и разумный мир, полный заинтересованных Читателей.

Она готовилась к своим выпускным с отчаянной, истовой строгостью, как послушница готовится к постригу. Она научилась чисто писать, причем это произошло так внезапно, что никто не узнавал ее почерка в этих новых, четких, безупречных черных строчках. Она научилась воинственно откидывать голову назад. Когда-то одна одноклассница ухватила ее за уши и долго била головой об стену в классе, повторяя: «Ах ты, выскочка! Тебе все даром дается, ты даже не стараешься!» – но это была неправда. Она старалась, она втайне трудилась над собой, чтобы блеснуть. Она прочитала еще четыре пьесы Расина, заранее тревожась, что не сумеет достойно написать о его тематике, его взглядах, его мудрости.

Наверно, вы уже готовы изменить мнение об Эмили в худшую сторону: дескать, ну что ей, больше всех надо – или даже: ну и выскочка. Вот если бы я писала о человеке, решившем стать выдающимся прыгуном с трамплина, или марафонцем, или хотя бы пианистом, вы бы по-прежнему сочувствовали моему герою. Вы бы с интересом читали про то, как, преодолевая боль в мышцах,

прыгун в двадцатый или тридцатый раз карабкается по бетонным ступеням и как внизу его ждет прямоугольник жидкого аквамарина, как белые пузырьки воздуха взрываются в воде и ударяют по барабанным перепонкам, как тело описывает идеальную параболу. Вы бы сопереживали – ведь и вам случалось добиваться чего-то ценой огромного труда – так же, как я теперь с удовольствием и пониманием наблюдаю по телевизору игру бильярдистов, представляя себе прямые и искривленные линии на зеленом поле, а потом и вправду следя за тем, как шары проносятся по ним, с треском сталкиваются и роскошно падают в лузы, – и как я одновременно восхищаюсь работой телеоператоров, которые с помощью умело выбранной детали могут показать даже моему невежественному взгляду, где именно пролегают те прекрасные линии, где таятся препятствия, где скрываются опасности, а где ждет успех.

Может, я не права и наблюдатель все-таки способен оценить одинокую борьбу умного ребенка. А может быть, раздражает не то, что ребенок умный, а просто надоели всем рассказы об этих одиноких умниках, ну сколько можно. Что из них всех вырастает – нытики-писатели, которых никто не понимает? Но с Эмили дело было не так. Она не стала писать ни о том, какая она была умная и как ее не понимали, ни о чем-нибудь другом.

А может быть, и не было у вас никакой неприязни, пока я своими рассуждениями вам не надоела. И зачем вам рассказчик-параноик? Совершенно незачем. Что ж, вернемся к мисс Крайтон-Уокер, о ней всегда есть что рассказать.

* * *

Вечером накануне первого экзамена мисс Крайтон-Уокер обратилась ко всем ученицам школы с очередным кратким поучением. Время было летнее, и на ней было серебристо-серое платье, заколотое все той же серебряной брошкой. Перед ней на столе стояла простая серебряная ваза с цветами: розовые розы и синие ирисы, а вокруг них что-то белое, прозрачно-кружевное. Завтра, сказала она, начинаются экзамены. Она надеется, что младшие девочки будут помнить об этом и не станут шуметь под окнами большого зала, пока старшие пишут экзаменационные работы. Среди учениц есть некоторые, сказала она, которые придают результатам экзаменов очень большую важность. Они, видимо, считают, что хорошо сдать экзамен – это что-то особенно почетное. Она надеется, остальные ученицы не думают, что лично она полагает, будто свет клином сошелся на высоких оценках. Разумеется, все, что люди делают, важно,

даже очень важно – все в своем роде. Ей самой в жизни, например, доводилось как писать книги, так и вышивать скатерти. И ей даже трудно сказать, от чего людям больше пользы, да и удовольствия: от хорошо написанной книги или от хорошо вышитой скатерти.

Она говорила, а Эмили казалось, что она обращается именно к ней, ей одной смотрит в глаза своим холодным проникающим взглядом. Это вообще свойство хорошего оратора – заставить любого слушателя думать, что речь адресована лично ему. Мисс Крайтон-Уокер обычно ораторским талантом не отличалась: своими чувствами она не умела делиться, а как будто отчаянно пыталась навязать их непробиваемо равнодушным слушателям, и от этого у нее перехватывало голос. Выступая, она всегда ожидала, что ее поймут неправильно, а то и злостно извратят смысл ее слов, но продолжала твердить свое. Эмили все это бессознательно чувствовала, не задумываясь, как и почему она это понимает. Но в этот раз сомнений не было: слова мисс Крайтон-Уокер предназначены ей, и сказаны они были с такой вдохновенной ненавистью, с такой абсолютной враждебностью, с позиции такого абсолютного антагонизма, что было ясно – мисс Крайтон-Уокер вкладывает в них всю свою сжатую в комок душу. Сначала Эмили отвечала на ее взгляд своим сердитым взглядом и упрямо вздернутым подбородком и думала о том, что мисс Крайтон-Уокер говорит пошлые глупости, потому что главное не экзаменационные оценки (дай бог, чтоб они были хорошие!), а Расин. Но потом, из принципа почти научного беспристрастия, Эмили попыталась честно подумать о важности вышивания скатертей. И тут она вспомнила о своей двоюродной бабушке Флоренс (ее называли просто тетя Флоренс) и мгновение спустя склонила голову и отвела глаза.

* * *

Дома, в Поттерис, у Эмили было множество тетушек: тетя Энни, тетя Ада, тетя Мириам, тетя Гертруда, тетя Флоренс. Тетя Флоренс была из них старшая и в молодости считалась самой красивой. Она всегда ухаживала за своей матерью, у которой была нелегкая жизнь, поэтому замуж вышла поздно и детей у нее не было – хотя, как говорила мама Эмили, ее всегда звали приглядывать за детьми других сестер. Мать умерла в полном маразме, когда Флоренс было пятьдесят четыре. В том же году у ее мужа случился инсульт, и после этого он десять лет пролежал парализованный, а тетя Флоренс кормила и обихаживала его. В молодые годы у нее были прекрасные золотистые волосы, очень длинные, ниже спины. В школу она ходила только до четырнадцати лет, но всю жизнь читала

книги – Диккенса и Троллопа, Дюма и Гарриет Бичер-Стоу – и всегда мечтала попутешествовать за границей. Когда дядя Тед наконец умер, она получила немного денег и уже совсем собралась уехать, как вдруг заболела тетя Мириам: головокружения, ноги не держат, руки трясутся, – и ее дети, занятые своими детьми, попросили тетю Флорри помочь. Кого же еще просить, говорила мама Эмили, она ведь вроде как свободна. И потом, она всегда такая сильная, так и бегает вверх-вниз по лестнице, когда нужно что-то подать или принести: сначала для бабушки, потом для дяди Теда, потом для бедной тети Мириам. На вид всегда здоровая, работящая. Но когда Мириам умерла, Флоренс было семьдесят два, и у нее был артрит, и никуда поехать она уже не могла. Могла только сидеть и вышивать – вышивать она любила, такая красота у нее получалась, что ни возьми: букеты, и арабески, и увитые цветами решетки – сияющими яркими нитками по белому полотну – или еще белые атласные наволочки для подушек, шитые белым шелком или, наоборот, всеми цветами радуги, с узорами из всех веков и стилей – тут тебе и эпоха Возрождения, и классицизм, и викторианские мотивы, и ар-нуво. Когда ездили к ней в гости, всегда привозили в подарок отрезы белого атласа, по которому она вышивала. Больше всего ей нравился такой плотный, из которого свадебные платья шьют. Цвет она предпочитала слегка кремовый, а вот ярко-белый, как бывает искусственный шелк, не любила. Когда ей исполнилось восемьдесят пять, в местной газете напечатали про нее статью, про ее замечательные вышивки, и там была фотография тети Флорри: она сидит в кресле в своей маленькой гостиной – прямо сидит, не горбится, – и на голове у нее короной уложены волосы, хотя они уже не такие густые, как были когда-то, а вокруг, на всей мебели, развешены белые полотнища с ее вышивками. У нее соседка хорошая, говорила мама Эмили, она к ней приходит и все ей делает. Сама-то тетя Флорри уже почти ничего не может: у нее артрит суставов рук.

* * *

После речи мисс Крайтон-Уокер Эмили расплакалась. Первые полчаса она думала, что это просто нервная реакция, раздражение глаз от волнения перед завтрашним экзаменом, что это скоро пройдет. Сначала она не слишком сдерживалась, ревела и всхлипывала в раздевалке спортивного зала в подвале, раскачивалась из стороны в сторону на скамеечке, под которой в решетчатом ящике были как попало свалены парусиновые ботинки для хоккея на траве и пыльные гимнастические тапочки. Дело шло к отбою, и она решила, что, пожалуй, пора кончать реветь, хватит уже, выплакалась, отвела душу. Надо собраться, прийти в себя. Хлюпая носом, она тихонько выбралась в коридор

верхних этажей и там натолкнулась на Флору Марш. Добрая Флора сказала: вид у тебя что-то не очень. Услышав это, Эмили взвыла, как раненый зверь, и попыталась пройти мимо, но ее так шатало от стены к стене коридора, что Флора встревожилась. На вопросы, что случилось, Эмили толком ответить не могла, она словно онемела, и Флора сказала: тебе надо в лечебку, так они называли школьный лазарет, тебе надо к медсестре. Завтра ведь экзамен по латинскому, ты что, приведи себя в порядок. Флора повела ее по темным коридорам засыпающей школы. Эмили не сопротивлялась, она шла, слегка постанывая, вся мокрая от слез, а внутри ее заплаканной головы светился огонек ясного разума, тикал какой-то четкий механизм, и она думала: меня ведут как вола – нет, не вола, как белую телку, как там у Китса в оде к греческой вазе… Разубранную телку тянет жрец, она мычит, как бы взывая к небу…[6 - «Ода к греческой вазе» (1819) Дж. Китса цитируется в переводе В. Потаповой.] Над головой на металлических цепях тоскливо свисали пыльные шары коридорных ламп.

Школьная медсестра, сухонькая деловитая женщина в белом халате и туфлях на мягкой резиновой подошве, развела для Эмили кружку какао и усадила ее в не слишком удобное, но симпатичное плетеное кресло. Эмили все плакала. Медсестре и Флоре, да и самой Эмили было ясно, что конца этому не предвидится. Соленые слезы застилали ей глаза, скапливались между веками, переливались через край, растекались широкими потоками по щекам и подбородку, холодными струйками сбегали по шее, пропитывали воротник. Тикающий механизм в голове Эмили тем временем размышлял о смерти Сенеки, о том, как теплая влага жизни вытекает из тела, капля за каплей, о том, что можно просто позволить ей истечь, просто сдаться. Медсестра велела Флоре принести вещи Эмили, и она, с трудом ворочая руками, как неумелый пловец в толще воды, натянула ночную рубашку и взобралась на высокую больничную кровать с железной решетчатой спинкой, жестким матрасом и белыми хлопчатобумажными одеялами. Слезы текли уже беззвучно, от них на подушке расплылось темное пятно, потом подушка промокла насквозь. Эмили свернулась на постели, уткнувшись подбородком в коленки, спиной к медсестре. Сестра поправила ей мокрые волосы, забившиеся за ворот рубашки, и спросила Флору Марш, из-за чего Эмили плачет. Флора сказала: не знаю, может быть, начальница что-то такое сказала. До Эмили, затерянной как щепка в водяной пустыне, их слова доносились глухо, как бы издалека. Сможет ли она завтра экзамен сдавать, спросила Флора, и сестра сказала: ночь поспит, а там видно будет.

* * *

Эмили раздвоилась. Та ее часть, которая ведает чувствами, потерпела поражение и сдалась, уступила, растворилась в блаженном небытии. А мыслящая часть продолжала работать, четко и строго, ритмически отмеривая пятистопные ямбы и александрийские стихи, и утешительные слезы не мешали ей, а просто служили фоном. Наутро чувствующая часть Эмили, продолжая всхлюпывать и нетвердо пошатываясь, приняла из рук медсестры кружку чая и кусочек тоста, а мыслящая часть трезво выглянула из заплаканных глазниц, поднялась с постели, оделась и, не вытирая мокрых щек, отправилась на экзамен по латинскому языку. И Эмили высидела весь экзамен, и там она несколько часов переводила, анализировала тексты и старательно сочиняла латинские фразы и целые абзацы. А когда экзамен закончился, из горла ее вырвался неудержимый всхлип – и слезы хлынули снова, как будто где-то внутри открылся кран, как будто с этим слезным потоком что-то – всё – должно было выплеснуться наружу. Эмили прокралась назад в лазарет, на железную кровать, и лежала, зябко дрожа, с холодными мокрыми щеками, а в голове у нее, там, где тикает механизм разума, в яростном водовороте кружились примечания к Горацию, крики носимых бурей героев «Лира», неуместные банальности миссис Беннет, сослагательные и условные наклонения – и она их разбирала, перебирала и просеивала, а слезы все текли и текли. И так она написала два сочинения по немецкому и все экзаменационные работы по английскому. Когда приходило время писать, она всегда была собранна и готова, но из написанного ничего не помнила – все растворялось в слезах, все смывалось прочь. Она была как бегун в конце марафона: все силы тела, крови и мускулов на исходе, осталась только сила духа, тронь такого рукой – рухнет и не встанет.

* * *

В свободный день между экзаменом по английскому и последним, по французскому, в ее палате появилась посетительница. Эмили лежала калачиком на своей железной кровати и плакала. Сестра наполовину опустила жалюзи на окнах, чтобы внутрь не проникал жар летнего дня и крики девочек, играющих в теннис на солнечном травяном корте. Воздух в комнате густой и зеленый, полупрозрачно-стеклянный, и в нем стоят, как под водой, столбы тени. Мисс Крайтон-Уокер вошла и направилась к кровати, и вместе с ней вошел скрип резиновых подошв и ее собственная тень. Волосы у нее в этом полусвете серебряные с зелеными отблесками, платье цвета больше всего похожего на грязь, на шее маленький, плотно вязанный крючком воротничок-стойка. Она

пододвинула железный трубчатый стул и села перед Эмили: руки покойно сложены на коленях, колени плотно сдвинуты, губы поджаты. От слез обоняние Эмили не ухудшилось, наоборот, стало более чутким: от мисс Крайтон-Уокер слегка пахло нафталином, но в стенах лазарета этот острый душный запах напомнил ей эфир или хлороформ, и ее немного замутило. Эмили лежала неподвижно. Мисс Крайтон-Уокер заговорила:

– Эмили, я с сожалением узнала, что ты заболела, если это можно так назвать. К сожалению, мне не сообщили об этом раньше, иначе бы я раньше тебя навестила. Скажи мне, пожалуйста, если можешь, что тебя так огорчило?

– Не знаю, – сказала Эмили, и это была неправда.

– Я знаю, что ты придаешь очень большое значение этим экзаменам, – прозвучал тихий голос, и в нем слышалось осуждение. – Я думаю, ты слишком переутомилась, поставила себе слишком высокие цели, перестаралась. Мне всегда казалось, что это несправедливо по отношению к юным девушкам – заставлять их проходить такие суровые испытания, когда можно было бы найти какие-то другие, более объективные способы всесторонне оценить их успехи и достижения. Разумеется, я готова написать письмо в экзаменационный совет, если тебе кажется – если мне покажется, – что ты не смогла проявить себя достойным образом. Это, конечно, будет очень обидно, но это ведь не трагедия, совсем не трагедия. К тому же такие временные неприятности могут быть полезны для воспитания характера.

– Я не пропустила ни одного экзамена, – глухо прозвучал упрямый голос Эмили.

Мисс Крайтон-Уокер продолжала:

– Я убеждена, что для формирования по-настоящему твердого характера необходимо один раз потерпеть серьезную неудачу. Я понимаю, что ты сейчас видишь все совсем в другом свете, но когда-нибудь ты со мной согласишься.

Эмили понимала: нужно бороться, но как? Одна половина ее готова была громко разреветься, просто чтобы заглушить грубым криком этот тихий вкрадчивый голос. Другая половина без слов понимала, что этого делать ни в коем случае нельзя, что это капитуляция, признание неурочно произнесенного над ней окончательного приговора. Она сказала:

– Если мне не надо будет разговаривать, если просто продолжать писать экзаменационные работы, то, мне кажется, я справлюсь, у меня получится. Мне так кажется.

– По-моему, Эмили, у тебя получается плохо.

Эмили почувствовала, что в глазах у нее плывет и в голове мутится, как будто она теряет сознание от запаха нафталина. Она отвела глаза вниз от осуждающего лица и стала разглядывать вязаный воротничок, состоящий из узелков и дырочек. Вязание крючком, даже самое аккуратное, всегда бывает чуть-чуть неровным и несимметричным; вот и здесь маленькие цветочки в обрамлении нитяных цепочек немного кривые. Две половины воротничка присобраны и стянуты толстеньким крученым шнурком, шнурок завязан тугим бантиком, а концы его свисают на грудь, и каждый заканчивается узелком. Где ты, Расин? Где спасительная нить логических рассуждений, где сухой и жаркий воздух, которым дышит Читатель? Жалюзи слегка качаются и прогибаются от ветра. Внезапно в голове Эмили начинает разворачиваться бесконечный свиток, а на нем сплетение стихотворных строк, ровных, как ноты на стане, и этот упорядоченный рисунок александрийского стиха каким-то неведомым образом составляет филигранную мережку, какие великая мастерица была вышивать тетя Флорри: паутинки ниток, сходящиеся вместе и перехваченные посредине, как снопы у жнеца, а между ними просветы, скрепленные крохотными стежками, и все вместе – сетка, решетка.

C’etait pendant l’horreur d’une profonde nuit.

Ma m?re Jezabel devant moi s’est montree

Comme au jour de sa mort pompeusement paree…[7 - Так вот, передо мной в одну глухую ночьПредстала мать моя Иезавель неслышно.Она, как в смертный час, была одета пышно…(Жан Расин. Гофолия. Акт II, явл. 5. Перев. Ю. Корнеева)]

Вот и еще один призрак у постели – совершенно неуместный. Думающая половинка Эмили улыбается про себя, поудобнее подложив руку под щеку.

– Мне просто надо побыть в покое, сосредоточиться…

Мисс Крайтон-Уокер подобралась, ее серебристо-зеленые кудри слегка качнулись в сторону лежащей девочки.

– Мне сказали, что ты расстроилась из-за моих слов на собрании. Если это так, то мне очень жаль. Разумеется, все, что я говорила, было сказано из лучших побуждений и, как мне казалось, совершенно продуманно. Я говорила это в интересах большинства девочек и никого в отдельности не хотела обидеть. Я чувствую себя равно ответственной за всех вас, вне зависимости от различия интересов и способностей. Возможно, что в тот момент потребности прочих мне казались более важными, чем твои, – вероятно, мне думалось, что ты чувствуешь себя увереннее, чем другие. Поверь, пожалуйста, что я ничего особенного не имела в виду по отношению лично к тебе. И разумеется, все сказанное мной было сказано совершенно искренне.

– Да. То есть да, конечно.

– Я хотела бы знать, не обиделась ли ты на что-то, что я сказала.

– Я бы не хотела…

– Я бы не хотела, чтобы между нами осталось это недоразумение. Меня бы очень огорчило – меня бы расстроило, – если бы я узнала, что я даже ненамеренно причинила боль одной из девочек, находящихся на моем попечении. Скажи, пожалуйста, не винишь ли ты меня в чем-то.

– Нет. Нет, конечно нет.

* * *

Бедная Эмили, принужденная выступить в роли судьи! Как беспомощны, как безнадежны ее слова – это же ложь, измена принципу точности. Сказавши «нет», она как будто предала, нарушила какую-то клятву, которой никогда не давала.

* * *

– Хорошо. Мы, кажется, поняли друг друга. Я очень рада. Я принесла тебе цветов из своего садика, сестра поставит их в воду. Они немного скрасят твое пребывание в этой темноте. Надеюсь, ты скоро сможешь вернуться ко всем остальным девочкам. Я, разумеется, буду осведомляться о твоем здоровье.

* * *

Страница за страницей, медленно и тщательно, экзаменационные сочинения по французскому были написаны. Перо Эмили быстро бежало по белой бумаге, оставляя цепочку скупых черных значков; мысли ложились на страницу мелкими стежками, перемежающимися яркими бусинками цитат. Ей не приходилось ничего сочинять: она знала, что хочет сказать, узнавала рисунок мысли, и он сам укладывался на чистый лист в виде упорядоченного узора. На стыке абзацев Эмили поднимала глаза: в темных углах школьного зала, под пыльными наградными щитами, в оконных нишах или проемах дверей ей являлись видения сцен и целых живых картин, в которых разыгрывалась одна и та же тема – тщетность человеческих стремлений. Она подробно анализировала ясность, с которой Расин представил запутанный и противоречивый мир страстей Федры, а в это время боковым зрением видела призрачные фигуры, извивающиеся и машущие, словно призраки, пытающиеся на дыхании ветра перелететь через Стикс. Среди них была фигура мисс Крайтон-Уокер того серебристо-грязного цвета, в каком она предстала в подводном свете больничной палаты, и она многозначительно утверждала, что поражение необходимо и полезно. Была там и тетя Флорри, блекло-пепельная и смиренная, освещенная отраженным светом своих работ – прямоугольников белого полотна и непорочного свадебного атласа, – прямо сидящая в своем кресле, тоже судья. Был там и Мартин, о котором она вспоминала так редко, и он снова, как когда-то, разбрасывал и комкал бумаги на ее маленьком столе – сгусток мягкой бессмысленной плоти посреди вихря белых листов. Виделись ей даже длинные ряды необожженных керамических сосудов, покрытых непрозрачной пока глазурью, жидкой глиняной поливой, скрывающей до поры нанесенный рисунок, который проявится только после обжига в печи у ее отца, откуда они выйдут ясными и сияющими. Зачем продолжать бороться, шептал тихий голос в ее ушах, к чему вся эта маета? Что ты можешь знать, продолжал этот голос – и нельзя было отказать ему в некоторой правоте, – о кровосмесительной страсти матери и о гневе богов? Не нашего ума это дело, наше дело – вышивать скатерти и терпеть.

Эмили, не без стараний мисс Крайтон-Уокер, было хорошо знакомо чувство вины, но она ничего не знала о силе страсти, ни укрощенной, ни неуемной; она не

испытывала в своей крови хватки ее огненных когтей. Она и писала, ясно и убедительно, о неизбывном чувстве вины Федры, не оставляющем ее от первой сцены до последней, о чувстве, из-за которого она так страшится встречи со своим отцом Миносом, судией в загробном мире, из-за которого чувствует, что ясность ее зрения оскверняет самый воздух и чистоту солнечного света. Эмили писала, а сама то и дело касалась припухших мешков под покрасневшими от слез глазами: она видела сейчас сквозь толщу влаги и невольно и неизбежно сравнивала кощунственную ясность зрения Федры и туман в своих исплаканных глазах, для которых солнечный свет был мукой.

* * *

А где-то далеко, в своей собственной пустыне с сухим золотистым воздухом, существовал ее Читатель. Он ждал; он должен был взвесить ее знание и ее невежество и произнести над ней суд: сумела ли она все сделать правильно, не уклонилась ли в чем. Дописав, Эмили мысленно поклонилась ему и в душе признала, что он лишь плод воображения, что существовать в его залитом светом мире невозможно.

Кто же победил, спросите вы: Эмили или мисс Крайтон-Уокер? Кто из них одержал победу – если уж Читатель есть не более чем абстракция, плод воображения, и ни победить, ни проиграть не может? Можно считать, что победила Эмили, ибо она достигла своей цели: то, что она написала во время экзаменов, было не горячечным бредом, а в точности соответствовало требованиям придирчивой экзаменационной комиссии, и, когда эти работы были самым тщательным образом проверены, перепроверены и наконец оценены, итоговые баллы оказались самыми высокими за всю историю школы. А можно считать, что победила мисс Крайтон-Уокер, потому что Эмили был поставлен диагноз «нервный срыв» и ее отослали домой со строжайшим предписанием к книжкам не притрагиваться, так что мама выдала ей кусок канвы для вышивания полукрестиком, и все долгое лето она была вынуждена просидеть над деревянными пяльцами с рисунком в викторианском духе – пышные розы и синие аквилегии – и послушно класть стежок за стежком тупой вышивальной иголкой с продернутой в ушко розовой, бежевой, алой, голубой, лазурной или темно-синей шерстяной ниткой, создавая на изнанке жуткую путаницу из торчащих концов и выпирающих узлов, потому что талантом аккуратно закреплять нитку она была обделена. Можно решить, что в конечном итоге все-таки победила Эмили, потому что она поступила в университет по самой правильной для себя специальности – французский язык – и уже во время учебы

выскочила замуж. Если Эмили и казалось иной раз, что она в чем-то проиграла, то это было ненадолго, понятная слабость, а так она с неизменной теплотой относилась к своему тихому мужу, служившему налоговым инспектором, и к двум умненьким дочерям, да еще и получала некоторое удовлетворение от работы переводчицей по заказу разных международных юридических организаций.

Но вот в один прекрасный день ее вызвал заместитель директора школы, где училась старшая дочь, и Эмили отправилась в это учебное заведение – ряд кубов и призм из полированной стали и стекла, совсем не похожих на темное, увитое плющом здание, где когда-то училась она сама. Заместитель директора, одетый в модно потертый джинсовый костюм, был субтильный и легонький, как птичка. Жидковатые седые волосы длинными прядями спускались до воротника рубашки, а на лице читалась некоторая озабоченность. Понимаете ли, заговорил он, если лично вы принадлежите к среднему классу и получили университетское образование, это еще не значит, что к тому же стремится ваша дочь. Я говорил Саре: если ты, например, хочешь стать садовником, наша школа сделает все возможное, чтобы тебя в этом поддержать. Это твоя жизнь, и выбирать тебе. Для нас равно важно все, что делают у нас девочки; главное, чтобы они нашли себя. Тихим, глухим голосом Эмили ответила: Сара хочет заниматься по усиленной программе французским и одновременно математикой; неужели школа не смогла составить для нее расписание, при котором она могла бы это совмещать? Выражение лица заместителя директора изменилось: оно стало гораздо любезнее и вместе с тем укоризненнее. Но согласитесь, сказал он Эмили, что родители не всегда правильно судят о способностях своих детей. Возможно ведь, что вы – разумеется, из самых лучших побуждений! – принимаете за интересы Сары ваши собственные нереализованные амбиции. А что, если Сара не имеет наклонностей к интенсивной учебе? Эмили бы надо было спросить его, а знает ли он Сару и на чем, собственно, основывается его суждение, – да и сама огорченная и возмущенная Сара ожидала, что она задаст ему этот вопрос, – но Эмили не решилась. Сказала только: французский у Сары идет очень хорошо – я специалист, я в этом разбираюсь; у нее природный талант. В улыбке замдиректора отразилось его плохо скрываемое недоверие и высокомерие профессионала. Это вы так думаете, сказал он, но мы, педагоги, можем придерживаться иного мнения. Наша цель – всестороннее развить личность девочки, подготовить ее к жизни, к выстраиванию межличностных отношений, к ведению домашнего хозяйства, помочь найти свое место в обществе, понять свои обязанности. Мы прекрасно понимаем, что у Сары имеются потребности и проблемы, одна из которых, простите мою прямоту, связана с вашими требованиями к ней. Жаль, что вы не хотите довериться

нашему мнению. Впрочем, как бы то ни было, школа никак не может так организовать расписание, чтобы обеспечить Саре и языковой, и математический уклон.

Сквозь этот новый тихий голос сквозил другой, давний. И Эмили шла по леденящим стеклянным коридорам и думала: если бы тогда, в ее прошлом, не случилось то, что случилось, сегодня она смогла бы не поддаться этой силе. Хотелось швырнуть камень и вдребезги расколотить эти огромные бесчувственные стеклянные стены, впустить ясный свет – и было стыдно за свое детское желание.

А дома Сара подвела аккуратную двойную черту под доказательством геометрической теоремы, четко изложенным для некоего пока рассеянно взирающего на нее, неумолимо точного высшего ума, перед которым она жаждала предстать. Как дальше стала жить Сара, открылось ли ей это знание – это уже другая история, история Сары. Можете поверить – надеюсь, что у вас достанет веры, – что она нашла свою дорогу к свету.

Розовые чашки[8 - Перевод И. Зубановой]

Три девушки сидят в комнате: две в низких креслах с овальной спинкой, одна на краешке кровати, так что летний свет из окна падает на ее бледные волосы, а лицо в полутени. Они молоды, полны сил – это видно по живым поворотам головок, по быстрым легким движениям, какими они подносят к губам сигареты в длинном мундштуке или розовые чашки с чаем. На них прямые платья до колен: одно оливково-зеленое, другое рыжевато-коричневое (иногда оно видится как тускло-пунцовое), а на светловолосой – цвета топленого молока или неотбеленной шерсти. Чулки у всех светлые, гладкие, но без блеска, туфли остроносые, с ремешками на пуговках и почти без каблука. У одной из девушек, сидящей в кресле, длинные темные волосы собраны в узел низко на затылке. У двух других короткие стрижки, открывающие сзади шею. Вот блондинка повернулась к окну, и видна очаровательная линия среза серебристо-золотых волос, наискосок от нижнего угла щеки до затылка. Тонко очерченный рот спокоен и неподвижен; она кажется безмятежной, но она в ожидании. Третью разглядеть труднее, заметна только суровая стрижка «под мальчика», и Веронике всегда приходится делать над собой усилие, чтобы увидеть ее волосы

не такими, какими она всегда их знала, – седеющими и не знавшими краски.

Кресла Вероника видит очень отчетливо: одно плотно обтянутое светло-зеленой льняной тканью, второе с оборчатым ситцевым чехлом в крупных пышных розах. Еще там есть маленький камин с пыльным ведерком для угля и медными щипцами. Иногда камин жарко горит, но чаще он стоит темным, ведь на улице лето; в проеме розоватых набивных занавесок виден неизменный сад колледжа, с водоемом в каменной оправе, с кустами роз, пышными цветочными рабатками, запахом свежескошенной травы. Из-за края окна, обрамляющего эту картину, внутрь заглядывают листья: плющ, плетистая роза? В комнате есть письменный стол, но его видно плохо. И нет смысла нарочно вглядываться, нужно просто терпеливо подождать. В одном, совсем темном углу стоит еще что-то, но никогда не удается понять, что это: может быть, шкаф? Зато ей всегда хорошо виден низкий столик, накрытый к чаю: маленький чайник с кипятком, на подставке, объемистый заварной чайник с цветочками, ореховый кекс на блюде, ломтики солодового хлеба и шесть радужно-блестящих розовых чашек с блюдцами в форме лепестка. Переливчатая глазурь лежит на чашках не ровно, а растекается по насыщенно-розовому паутинкой серовато-голубых и бело-золотых прожилок. И разумеется, еще нужны – и, конечно, имеются – маленькие ножики для масла с закругленными концами и ручками из слоновой кости и само масло в хрустальном блюдечке. Да-да, и хрустальная же вазочка с джемом, с особенной плоской ложечкой.

Девушки переговариваются между собой. Они кого-то ждут. Их разговор и смех Веронике не слышен, зато хорошо видна скатерть: белое полотно с ажурной мережкой по краю, перевитой гирляндами цветов, – рельефная гладь меланжевым шелком: нитки по длине окрашены в разные оттенки одного цвета, то светлее, то темнее. Цветы эти обычно представляются ей розами, хотя, если приглядеться, они не совсем розы – или даже совсем не розы, а плод фантазии. И розового цвета в ее картине что-то многовато.

* * *

Со второго этажа раздался требовательный и негодующий голос Джейн, дочери Вероники. Джейн была дома – редкий перерыв в плотном графике ее активной жизни, которая бурлила и перехлестывала через край, нося ее из дома в дом, из гостей в гости, на посиделки в чьей-то кухне, где грохочет рок-музыка, вьется дым запретного курева, звучат громкие голоса. Джейн, оказывается, решила

что-то сшить, а швейная машина в гостевой спальне наверху, куда и поднялась Вероника. Джейн изрезала материю – кажется, это была наволочка – и попыталась соорудить головную повязку с бахромой из тряпичных ленточек, чтобы украсить очередную прическу. Дурацкая машинка не желает работать, заявила Джейн, сердито шлепнув ее по металлическому боку, и взглянула на Веронику снизу вверх: яркое лицо в короне торчащих во все стороны острых лучей угольно-черных волос, покрытых для прочности лаком, – целое колючее произведение искусства. От своего отца она унаследовала большие черные глаза, которые густо обводила сурьмой, а от отца Вероники – щедрые красивые губы, накрашенные сейчас блестящей помадой цвета фуксии. Она казалась крупной, но складной, одновременно пышной и стройной, очень живой – разом и женщина, и капризный ребенок. Вот ведь идиотская иголка, не захватывает нижнюю нитку, говорила Джейн, вхолостую крутя маховое колесо и заставляя жалобно стучать и лязгать все старинные рычаги и шарниры. Все дело тут в натяжении, механизм натяжения напрочь развалился! Она с силой выдернула свою тряпочную конструкцию из-под лапки, за ней из нутра машины потянулась нитка, внутри зажужжал и забился челнок. Верхняя нитка давно лопнула.

Эту швейную машину фирмы «Викерс» подарили матери Вероники на свадьбу в 1930 году, и уже тогда она была подержанная. К Веронике машина попала в шестидесятом, когда родилась старшая сестра Джейн. Вероника шила приданое для ребенка, а себе ночные рубашки – только самые простые вещи, она была портниха невеликая. Мать тоже не слишком много пользовалась ею, хотя в войну машинка очень выручала: мать на ней перелицовывала воротники у рубашек, подворачивала штанины брюк, перешивала жакеты в юбки, строчила мальчикам штаны из старых занавесок. А вот бабушка, мать ее матери, в 1890-х годах шила, а еще она вышивала на руках: подушечки и ручные полотенца, носовые платки и «дорожки» для комодов.

Джейн теребила себя за ухо, украшенное множеством сережек в виде колечек из золотой проволоки со стеклянными бусинками. Весь регулятор натяжения разломала, призналась она; как теперь его собрать? Это было так похоже на Джейн – без колебаний идти напролом там, где люди поколения Вероники по традиции робели: укрощение машин, жизнь в коммунах, ниспровержение авторитетов. Мир, в котором обитала Джейн, был полон механизмов. Вместо сумочки она носила на улице черный ящичек с ручкой в крышке, со всех сторон ее окружали гирлянды электроприборов: транзистор, фен, магнитофон, щипцы для завивки волос, щипцы для гофрировки. Джейн разломала натяжной механизм старенькой машинки, по всему швейному столику раскатились металлические диски. Особенно ее, судя по всему, раздражала изогнутая тонкая

проволока с крючочком для нитки на конце – тем самым, который так упруго и умиротворяюще ходит вверх-вниз, когда машина работает как надо. Она дергала и тянула за этот проволочный крючок, пока не вытащила весь стальной завиток из его законного места, так что теперь проволока угрожающе торчала, бессмысленно и опасно покачиваясь и указывая в никуда.

* * *

Вероника почувствовала, как в ней поднимается ярость. «Но это же пружина, Джейн. Нельзя же…» – начала она и услышала по своему голосу, что сейчас сорвется на отчаянный крик: как ты могла?! ну что ты за бесчувственное существо! это же машина моей матери, я ее всю жизнь берегла, ухаживала за ней…

* * *

И внезапно ей припомнились 1950-е и голос ее матери, ее несдерживаемое, бесконечное, обвиняющее: «Как ты могла? Как ты только могла?!» Перед глазами мелькнула картинка – вот они стоят друг перед другом: мать с несчастным оскорбленным видом, уголки рта привычно опущены, и она сама – студентка, платье клеш на кипенно-белых нижних юбках, кожа гладкая, глаза подкрашены, вся на взводе. А между ними упаковочный ящик, только что доставленный по почте, и в нем радужно-блестящие розовые чашки, все побитые вдребезги. Эти заповедные чашки ей подарила подруга матери по колледжу – специально по случаю возвращения в тот же колледж в лице нового поколения. Чашки Веронике не понравились. Жуткий розовый цвет и эти блюдца-лепестки – совершенно немодно. Они с друзьями пьют не чай, а растворимый «Нескафе» и не из чашек, а из керамических кружек простой цилиндрической формы и незамысловатых ярких цветов. Скатерть, которую для нее вышила бабушка, она тогда засунула подальше в ящик комода. А теперь вот такую вышитую скатерть, белоснежную и крахмальную, она вспоминала каждый раз, когда снова и снова представляла себе это воображаемое чаепитие. Это началось после смерти матери – такая странная форма оплакивания, навязчивая, но отчасти утешительная. По-другому у нее как-то не получалось. Мать всегда так яростно ненавидела кабалу домашнего хозяйства и злилась из-за этого на своих умных дочерей, этой ловушки во многом избежавших, что искренне скорбеть о ее уходе было невозможно. Когда ее не стало, вокруг просто воцарилась тишина (а при ней бушевала неутихающая буря). Тишина, как в тот

день – в любой из дней – в конце 1920-х годов, когда в той залитой летним светом комнате кого-то ждут три девушки.

* * *

Нет, нельзя было обрушить такую же бурю на голову Джейн. Вероника только повторила: «Это пружина, ее нельзя вытягивать», а Джейн примирительно проворчала, что очень даже можно. И они уселись вместе за швейный столик и стали разбираться, что делать с разломанным регулятором натяжения.

Вероника припомнила, как она упаковывала розовые чашки. Что-то у нее тогда случилось, какая-то катастрофа. Она видела, как, не помня себя от отчаяния и горя, она мечется по комнате, в которой жила в колледже, и сил хватает, только чтобы как попало свалить эти несчастные чашки в ящик; и надо бы завернуть их в газету, но газеты нет, а думать, где ее взять, нет никаких сил. В том исступлении судьба чашек казалась совершенно не важной – но в чем была причина расстройства? И не припомнить сейчас. Поссорилась с кавалером? Не получила роль в университетском спектакле? Сказала что-то такое, о чем пожалела? Испугалась, что забеременела? Или тогда на нее внезапно навалилась неясная, но непреодолимая тревога: все бессмысленно, жизнь топчется на месте? Тогда это ее пугало – тогда она была живая. Теперь она боялась гораздо более конкретных вещей: боялась смерти и что ничего не успеет сделать, пока жива. Казалось, между ней сегодняшней и той девушкой, которая в своем непонятном горе упаковывала чашки, нет ничего общего, будто они разные люди, и она наблюдает за ней со стороны, как за тем воображаемым чаепитием.

Вероника ясно помнила, как в колледже она тайком заглянула в ту самую комнату, где когда-то жила ее мать, и заметила два низких кресла и кровать под окном. Вот и в сочиненной ею картине кресла именно с той обивкой, которую она мельком приметила тогда, хотя это, наверное, не соответствует эпохе. Мать так хотела, чтобы она поступила в этот колледж, – а когда она поступила, мать стала ревновать ее к своим студенческим воспоминаниям. Прошлое превратилось в чужое прошлое и оторвалось от настоящего. Это была всего лишь материнская фантазия, что Вероника будет сидеть в тех же креслах, освещенная тем же солнцем, и пить из тех же чашек. А в одну реку дважды войти нельзя. И когда старшая дочь Вероники, сестра Джейн, сама поступила в колледж, Вероника уже знала, что не нужно мешать ей утвердиться там на

своем собственном месте, в своем собственном сегодня.

* * *

Зазвонил телефон. Джейн сказала: это, наверное, Барнаби! – и всю ее сердитую апатию как ветром сдуло. В дверях комнаты она обернулась к Веронике: «Ты прости за машинку. Ее наверняка можно починить. Но вообще-то, ей пора на свалку!» – и поспешила вниз по лестнице к телефону, назад к своей жизни, громко распевая. Голос у нее был отцовский, чистый и сильный, – не то что у Вероники и ее матери, которым не досталось музыкального слуха. А Джейн пела в школьном хоре Реквием Брамса. Вот и сейчас она радостно выпевала: «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, каков век мой».[9 - Псалом 38, слова 3-й части Немецкого реквиема И. Брамса.]

* * *

Три девушки сидят в небольшой комнате. Это не воспоминание, это вымысел. Вероника замечает, что кремовое платье ее матери, работа бабушки, портнихи не очень умелой, сшито с небольшими огрехами: то ли плечико чуть перекошено, то ли манжета посажена неровно, как это бывало со множеством манжет, пуговиц и корсажей в тяжелые времена, когда людям приходилось многое делать самим, – и из-за этого в облике матери есть что-то милое и трогательное. Вторая девушка с короткой стрижкой берет чайник и разливает янтарный чай в розовые чашки. Две чашки и одно блюдце – единственные выжившие после той перевозки – теперь стоят у Вероники на комоде, бесполезные, изысканно-прекрасные. Мать поднимает свою бледную головку, слегка приоткрыв нежный ротик, и вся мысленно устремляется к двери, в которую входят они: молодые люди в блейзерах и широких фланелевых брюках, на шее шарфы с эмблемой колледжа, волосы по моде зачесаны назад, на лицах благовоспитанные улыбки. Особенно отчетливо Вероника видит одного: он улыбается той особенной широкой красивой улыбкой, которая только что мимолетно промелькнула на недовольном смуглом лице Джейн. Миловидное нежное личико блондинки у окна вспыхивает от чистой радости и надежды, почти довольства. Продолжения Вероника никогда не видит, с этого места все начинается заново: кресла, скатерть, солнечный свет в окне, розовые чашки. Заповедный покой.

Июльский призрак[10 - Перевод О. Петровой]

– Похоже, мне нужно съезжать с квартиры, – сказал он. – У меня проблемы с хозяйкой.

Он так ловко снял у нее со спины зацепившийся за платье длинный светлый волос, что это выглядело просто как проявление заботы. И фокусы с балансированием стакана, тарелки и приборов он до этого тоже очень ловко показывал. На лице его читалось достоинство и страдание, и от этого он был похож на печального сокола. Он ее заинтересовал.

– Какого рода проблемы? Любовные, финансовые, хозяйственные?

– Собственно, ни то, ни другое, ни третье. Нет, не финансовые.

Он внимательно рассматривал волос, оборачивая его вокруг пальца, и не встречался с ней взглядом.

– Не финансовые? Расскажите. Возможно, я подскажу, куда можно переехать. У меня много знакомых.

– Да уж, наверное. – Он застенчиво улыбнулся. – Эту проблему описать трудно. Мы там вдвоем. Я обитаю на чердачном этаже. В основном.

Он остановился. Было видно, что он человек сдержанный и замкнутый. Но он что-то рассказывал. Это обычно привлекает.

– В основном? – Она показывала, что ждет продолжения.

– Нет-нет, это совсем не то. Нет… Может быть, мы сядем?

* * *

Они прошли через большую комнату, где толпились гости. День был жаркий. Он остановился, нашел бутылку и наполнил ее бокал. Ему не нужно было

спрашивать, что она пьет. Сели рядышком на диван. Ему нравились красные маки, такие яркие на ее изумрудном платье, и ее красивые сандалии. Она приехала на лето в Лондон, чтобы поработать в Британском музее. Конечно, она могла бы и у себя в Аризоне обойтись микрофильмами тех немногих рукописей, которые ей нужны для исследования, но надо было покончить с затянувшимся романом. Есть возраст, в котором, как бы безумно ты ни была счастлива со своим женатым профессором в украденные у судьбы моменты или дни, нужно либо заставить его уйти, либо бежать самой. Она попробовала и то и другое и теперь полагала, что ей удалось сбежать. Поэтому было так приятно, что на нее сразу же обратили внимание. Проблемы поддаются решению. Она сказала это, откинув длинные светлые волосы и повернув свое нежное личико к его измученному лицу. Все началось год назад, торопливо заговорил он, кстати, тоже на вечеринке; он познакомился с этой женщиной, нынешней хозяйкой квартиры, и, как он теперь понимает, сделал неверный шаг – правда, не сразу. А она повела себя, в общем-то, очень достойно, так что…

Он и тогда сказал: «Похоже, мне нужно съезжать с квартиры». Он был в отчаянии и уже было решил не ходить на вечеринку, но пить в одиночку больше не было сил. Женщина посмотрела на него спокойным изучающим взглядом и спросила: «Почему?» Нельзя же, сказал он, и дальше жить там, где когда-то был безумно счастлив, а теперь так несчастен, – каким бы удобным это место ни было. То есть удобным в смысле работы, друзей и того, что теперь, когда он об этом говорит, кажется бесцветным и несущественным по сравнению с воспоминаниями и надеждой: вот он открывает дверь, а за ней Энн, смеющаяся, запыхавшаяся, ждущая, что он расскажет ей, о чем он сегодня думал, что читал, что ел, что чувствовал. Та, которую я любил, ушла, сказал он женщине. Он и тут был сдержан, не поддался внезапному порыву, не стал рассказывать о том, как это было неожиданно, как он вернулся домой и нашел лишь конверт на пустом столе, пустые места на книжных полках, на стеллаже с пластинками, в буфете на кухне. Должно быть, это обдумывалось заранее, неделями, она, должно быть, думала об этом, когда он лежал на ней, когда она наливала ему вино, когда… Нет, нет. Злобствовать – это недостойно, а то, что он чувствует сейчас, ниже и хуже, чем гнев: просто обычное детское чувство потери.

– Нельзя же сердиться на жилище, – сказал он.

– Но мы сердимся, – сказала женщина. – Я знаю.

И тогда она предложила ему переехать к ней в качестве квартиранта; сказала, что у нее пропадает уйма свободного места, а муж там почти не бывает. «Нам в последнее время стало не о чем говорить». Он там будет совершенно независим: на чердачном этаже есть и кухня, и ванная комната; она не будет его беспокоить. А еще есть большой сад. Возможно, это все и решило: жара, центр Лондона, то время года, когда человек готов все отдать за возможность жить не в квартире на верхнем этаже дома где-нибудь на пыльной улице, а в комнате, за окном которой трава и деревья. А если Энн вернется, то дверь будет закрыта, заперта на замок. И он сможет больше не думать о том, что Энн вернется. Это будет решительный шаг – а Энн его считала нерешительным. Он будет жить без Энн.

* * *

В первые несколько недель после переезда он почти не видел той женщины. Они встречались на лестнице, а однажды, жарким воскресным днем, она поднялась к нему и сказала, что он может выходить в сад. Он ответил, что может полоть сорняки и косить траву, и она согласилась. Это было на той неделе, когда вернулся ее муж; он на полной скорости подъехал к парадной двери, вбежал и закричал, остановившись в пустом холле: «Имоджен, Имоджен!» В ответ она – что было так на нее не похоже – истерически закричала. Во внешности ее мужа Ноэля не было ничего, что могло бы вызвать этот крик; услышав его, квартирант посмотрел, перегнувшись через перила, на их поднятые лица и увидел, как на ее лице снова появляется обычное чопорное и невозмутимое выражение. Глядя на Ноэля, лысеющего, с пушком на висках, сутулого, лет тридцати пяти, в потрепанном вельветовом костюме и хлопчатобумажной водолазке, он понял, что теперь может догадаться о ее возрасте, чего он раньше не мог. Она была подтянутая, с длинными стройными ногами, с тусклыми светлыми волосами, уложенными в узел на затылке, и потупленным взглядом. Но слово «мягкая» к ней не подходит. Она извинилась и объяснила, что закричала, потому что Ноэль напугал ее своим неожиданным появлением. Объяснение выглядело вполне убедительно. А таким необычно резким крик, возможно, показался из-за эха в лестничном колодце. И все же Ноэля этот крик очень расстроил.

* * *

В те выходные он старался не мешать им, проходил, бесшумно перешагивая сразу через две ступеньки, и жалел, глядя из окна своей кухни в чудесный заросший сад, что они сидят дома, упуская возможность побыть на летнем солнышке. В воскресенье ближе к обеду он услышал, как муж, Ноэль, кричит на лестнице.

– Я так больше не смогу, если ты и дальше так будешь. Я сделал все, что мог, я пытался, но ничего не получается. Но тебя же не сдвинешь, ты же даже не пытаешься, ты все продолжаешь и продолжаешь. А у меня ведь и своя жизнь есть, нельзя ее взять и зачеркнуть! Так ведь?

Он снова, крадучись, вышел на темную лестничную площадку и увидел, что она совершенно неподвижно стоит на середине лестницы и смотрит, как Ноэль размахивает руками и рычит – или почти рычит, – как будто она терпеливо ждет, когда эта досадная сцена закончится. Ноэль судорожно сглотнул и всхлипнул. Он поднял к ней лицо и жалобно сказал:

– Ты ведь понимаешь, что я так больше не могу? Я свяжусь с тобой, ладно? Ты, наверное, захочешь… тебе, наверное, будет нужно… ты, наверное…

Она молчала.

– Если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь, где меня найти.

– Да.

– Ну, вот… – сказал Ноэль и пошел к двери.

Она наблюдала за ним, стоя на лестнице, а когда дверь закрылась, снова стала подниматься, мимо своей спальни, к его площадке, шаг за шагом, как будто это требовало некоторого усилия; вошла и сказала совершенно естественным тоном, что пусть он, если хочет, выходит в сад и не обращает внимания на семейные скандалы. Она надеется, что он понимает… все так непросто. Ноэля какое-то время не будет. Он журналист и поэтому часто уезжает. И к лучшему. Она ограничилась этим «и к лучшему». Она была очень скупа на слова.

* * *

И он стал выходить в сад. Там было очень приятно: большой уединенный лондонский сад, огороженный стеной, со старыми фруктовыми деревьями в дальнем конце, с колышущимися беспорядочными зарослями буддлеи, с округлыми клумбами старых роз, с лужайкой, густо заросшей многолетним плевелом. За стеной был пустырь с тропинкой, которая шла вдоль всех выходивших на него садов. Когда он собирал и смазывал в сарае газонокосилку, она пришла ему помочь и, стоя на тропинке под яблоней, смотрела, как он для пробы выкосил в ее траве извивающуюся полоску. Из-за стены доносились высокие детские голоса и глухие удары мяча. Он спросил ее, как поднять лезвия: в технике он разбирался плохо.

– Дети иногда так шумят, – сказала она. – И собаки. Надеюсь, они не будут вам мешать. Здесь не так много безопасных мест, где дети могут играть.

Он искренне сказал ей, что когда он сосредоточен, то посторонних звуков не замечает. Он доведет до ума газон и будет здесь сидеть и читать, много читать, чтобы снова навести в голове порядок, и будет писать статью о поэзии Томаса Гарди, о ее на удивление архаичном языке.

– На самом деле здесь совсем близко дорога, там, с другой стороны, – сказала она. – Место обманчивое. Пустырь – это только иллюзия пространства. Просто клочок земли с зарослями ежевики, дрока и чем-то вроде футбольного поля между двумя скоростными четырехполосными дорогами. Ненавижу лондонские пустыри.

– Но зато дрок и мокрая трава так хорошо пахнут. Хоть и иллюзия, но приятная.

– Иллюзии не бывают приятными, – решительно сказала она и ушла в дом.

Ему было интересно, чем она занимает свое время: если не считать коротких походов в магазины, она, казалось, постоянно была дома. Ему помнилось, что, когда их знакомили, назвали какую-то ее профессию: что-то связанное с литературой, с преподаванием – как у всех его знакомых. Может быть, в своей комнате с окнами на север она пишет стихи. Он не мог представить себе, на что они могут быть похожи. Как заметил Кингсли Эмис,[11 - Кингсли Уильям Эмис (1922–1995) – английский прозаик, поэт, критик.] женщины обычно пишут эмоциональные стихи, пишут лучше, чем мужчины. Но она, несмотря на свое невозмутимое спокойствие, была для этого слишком строгой, слишком

ожесточенной – мрачной, что ли. Он вспомнил ее крик. Может быть, она в духе Сильвии Плат[12 - Сильвия Плат (1932–1963) – американская поэтесса и писательница.] воспевает насилие. Впрочем, это тоже маловероятно. Может быть, она внештатный радиожурналист. Он как-то не удосужился спросить кого-нибудь из общих знакомых. За целый год, объяснял он на вечеринке американке, он ни разу ни с кем ее не обсуждал. Разумеется, согласилась та как-то неопределенно, но с чувством. Конечно, он не стал бы. Он не вполне понял, почему она так уверена, но продолжал свой рассказ.

* * *

За следующие несколько недель они узнали друг друга немного лучше – по крайней мере, настолько, что стали одалживать друг у друга чай, а иногда даже и вместе его пить. Погода становилась все жарче. Он отыскал в сарае старомодный шезлонг с выцветшей парусиной в полоску, почистил его и принес к себе на лужайку; там он немножко писал, немножко читал, время от времени вставая и выдергивая выросший кустик пырея. Он напрасно надеялся, что шум, который поднимают дети, не будет его отвлекать: в сад постоянно вторгались дети самых разных размеров в поисках мячей самых разных размеров, которые падали ему под ноги, влетали в кусты, терялись в густой траве, – черно-белые футбольные мячи, пляжные мячи с красными, желтыми и синими концентрическими кругами, ядовито-желтые теннисные мячи. Дети перелезали через стену: черные лица, коричневые лица, длинные волосы, бритые головы, респектабельные широкополые шляпы в крапинку и армейские камуфляжные кепки известной фирмы. Перелезали они легко, как будто привыкли к этому, – в хлопчатобумажных юбках, джинсах, спортивных шортах, в сандалиях, в кроссовках, кто-то даже босиком, с грязными загорелыми ногами. Иногда, забравшись на стену и увидев его, они показывали на мяч; пару раз кто-то спросил разрешения. Иногда он кидал им мяч, но при этом умудрялся сбить несколько маленьких, твердых, совсем еще зеленых яблок или груш. В стене, под растущими на границе сада деревьями, была калитка; он попытался ее открыть, но, провозившись со старыми ржавыми болтами, обнаружил, что замок новый и надежный, а ключа в нем нет.

Мальчик, который устроился на дереве, похоже, никакого мяча не искал. Он сидел в развилке ближайшего к калитке дерева, болтая ногами и что-то делая с размочаленным концом веревки, привязанной к ветке, на которой он сидел. На нем были джинсы, кроссовки и яркая тенниска, разноцветные полоски на которой повторяли цвета радуги и были расположены в том же порядке, что, по

мнению сидящего на траве мужчины, выглядело очень симпатично. Довольно длинные светлые волосы падали на глаза, закрывая лицо.

– Эй, послушай! Неудачное ты выбрал место. Там сидеть опасно.

Мальчик поднял на него глаза, широко улыбнулся и с ловкостью обезьяны скрылся за стеной. У него была славная открытая улыбка, дружелюбная, не дерзкая.

На другой день он снова сидел в развилке, откинувшись и скрестив руки. На нем были те же тенниска и джинсы. Мужчина смотрел на него и ждал, что он опять исчезнет, но тот сидел неподвижно и приветливо улыбался, а затем стал смотреть в небо. Мужчина почитал немного, потом поднял голову, увидел, что он все еще там, и сказал:

– Ты что-нибудь потерял?

Мальчик не ответил; немного погодя он спустился пониже, схватившись за ветку, повис на руках, быстро по ней перебрался, спрыгнул на землю и, помахав рукой, привычным путем скрылся за стеной.

Через два дня он лежал на животе на самом краю лужайки, там, где нет тени, на этот раз в белой тенниске с голубыми корабликами и волнами, вытянув на солнышке босые ноги. Он жевал стебелек травы и внимательно изучал землю, как будто смотрел, нет ли там насекомых. Мужчина сказал:

– Привет.

Мальчик поднял голову, встретился с ним взглядом своих синих глаз, обрамленных длинными ресницами, улыбнулся все так же тепло и открыто и снова стал смотреть на землю.

Ему не хотелось рассказывать об этом мальчике, который казался таким безобидным и деликатным. Но когда он встретил его выходящим из двери кухни, заговорил с ним, а мальчик лишь мягко улыбнулся и побежал к стене; он подумал, не нужно ли рассказать об этом хозяйке. И спросил ее, не возражает ли она против того, что дети заходят в сад. Она сказала – нет: детям же нужно

искать мячи, на то они и дети. Он не отставал: заходят и остаются, а один даже выходил из дома. Он, похоже, ничего плохого не делал, этот мальчик, но кто знает? Так что пусть она имеет в виду.

Может быть, это кто-то из друзей ее сына, предположила она. Спокойно посмотрела на него и объяснила. Два года назад летом, в июле, ее сын убежал с другими ребятами с пустыря и погиб под машиной. Почти мгновенно, сухо добавила она, словно рассчитывая, что рассказала достаточно и в дальнейших вопросах необходимости нет. Он посочувствовал, и ему стало стыдно – хотя стыдиться тут нечего – и несколько досадно, поскольку, ничего не зная о ее сыне, он мог случайно, по неведению сказать что-то, из-за чего оказался бы в неловком положении.

– Что это был за мальчик, – спросила она, – тот, что выходил из дома? Я не… я не разговариваю с его друзьями. Мне трудно. Может, Тимми или Мартин. Может быть, они что-то потеряли или хотели…

Он описал. Светловолосый, на вид лет десяти – вообще-то, в возрасте детей он разбирается плохо, – синеглазый, худенький, в тенниске с радужными полосками, почти всегда в джинсах – ах да, в таких черных с зеленым кроссовках. Или в другой тенниске – с корабликами и волнами. И с удивительно приятной улыбкой. Доброй улыбкой… Очень милый мальчик.

К ее молчанию он привык. Но тут оно все тянулось и тянулось. Она пристально всматривалась в сад. Наконец она произнесла, как всегда четко и спокойно:

– Я хочу одного – единственное, чего я в этой жизни хочу, – увидеть этого мальчика.

Она все так же вглядывалась в сад, и он вместе с ней, пока в пустоте света не начала плясать трава и не начали колебаться кусты. На какое-то мгновение ему передалось ее напряжение от тщетной попытки увидеть мальчика. Потом она вздохнула, села, как всегда, очень аккуратно – и упала без сознания к его ногам.

После этого она стала многословной – по сравнению с ее обычной манерой. Когда она упала в обморок, он не стал ее трогать, а терпеливо сидел рядом, пока она не зашевелилась и не села. Тогда он принес воды и уже собирался было уйти, как она заговорила:

– Я человек трезвомыслящий и в призраков не верю; я не из тех, кто верит во все, что привидится; я не верю в загробную жизнь и не понимаю, как в нее можно верить; меня всегда устраивала мысль, что жизнь просто заканчивается, что ее как ножом отрезают. Но это я о себе думала; я не думала, что он – только не он, – я думала, что призраки – это то, что люди хотят видеть или боятся увидеть… а после его смерти я больше всего хотела – это звучит глупо – сойти с ума, настолько, чтобы не ждать каждый день, что он сейчас придет из школы, со стуком откроет почтовый ящик, а чтобы мне казалось, что я на самом деле вижу и слышу, как он входит. Я не могу заставить свое тело, свой мозг перестать каждый день, каждый день ждать, а поэтому я не могу отказаться от этой мысли. Его комната – я иногда по ночам захожу туда в надежде, что хоть на мгновение забуду, что его там нет, что он не лежит и не спит там. Я бы, наверное, почти все отдала – все, что угодно, – лишь бы на мгновение снова увидеть его, как когда-то. В пижаме, с взлохмаченными волосами, с этой его… как вы сказали… с такой улыбкой.

Когда это произошло, они связались с Ноэлем. Ноэль приехал и громко меня позвал – как на днях, почему я и закричала: потому что это прозвучало так же. А потом сказали, что он мертв, а я спокойно подумала: мертв, настоящее время, сейчас мертв, и это «сейчас» будет продолжаться всегда, в любой момент, до скончания времен – постоянное настоящее время. Человеку приходят в голову самые нелепые мысли, я вот подумала о грамматике, о том, что «быть» в конце концов приходит к «быть мертвым»… А потом я вышла в сад и мысленным взором почти что увидела призрак его лица, только глаза и волосы, – он будто бы шел ко мне – все так, как было, когда я каждый день ждала его возвращения; так, как думаешь о своем сыне, с такой радостью, когда он – когда его рядом нет, – и я подумала – нет, я не увижу его, потому что он мертв, и я не буду об этом мечтать, потому что он мертв; я буду разумной и трезвомыслящей, я буду жить дальше, потому что нужно, потому что есть Ноэль…

Понимаете, я все восприняла неправильно, я была такая разумная, и потом я была так потрясена, я не могла ничего захотеть – я не могла разговаривать с Ноэлем, – я… я заставила его забрать, уничтожить все фотографии, я… я не видела снов, можно ведь усилием воли заставить себя не видеть снов… я не ходила на могилу, не носила цветов – какой смысл? Я была так разумна! Только тело мое продолжает ждать, и все, чего оно хочет, – это увидеть того мальчика. Того мальчика. Того, которого видели вы.

* * *

Он не стал говорить, что, возможно, видел другого мальчика, хотя бы мальчика, которому потом отдали тенниски и джинсы. Он не стал говорить, хотя это и пришло ему в голову, что он видел своего рода воплощение ее ужасного желания увидеть мальчика там, где на самом деле ничего не было. В том мальчике не было ничего страшного, не было вокруг него ауры боли; память настойчиво подсказывала: это был очень милый, вежливый мальчик, сдержанный, со своими собственными интересами. И почти в тот же миг она сама это предположила: может, он увидел то, что хотела увидеть она, – как будто смешались радиоволны, как бывает, когда вдруг по радио слышишь переговоры полицейских или нажимаешь кнопку одного телевизионного канала, а включается другой. Она соображала очень быстро и тут же добавила, что, возможно, он стал таким восприимчивым из-за его собственной потери, потери – Энн, недаром она поняла, что сможет вынести его присутствие в своем доме, и это, можно сказать… сблизило их настолько, что их волны смешались…

– Вы хотите сказать, – спросил он, – что у нас есть некий общий эмоциональный вакуум, который должен быть заполнен?

– Что-то вроде того, – сказала она и добавила: – Но в призраков я не верю.

Энн, подумал он, не может быть призраком: она сейчас где-то в другом месте, с кем-то другим и делает для того, другого, то, что она раньше так радостно делала для него, – готовит вкусный ужин, помогает с работой, неожиданно ставит на стол вазу с необычными цветами или дарит новые яркие рубашки, которые совсем не соответствуют его сдержанному вкусу, но оказываются подходящими, да, подходящими… В каком-то смысле потеря Энн была хуже, она отсутствовала сознательно, и это отсутствие любить нельзя, потому что любовь кончилась – для Энн.

– Вы, наверно, больше его не увидите, – сказала она. – Мы поговорили, и теперь этому… смешению волн наступит конец – если это и правда было такое смешение. Ведь так? Но… если… если он вдруг придет снова, – и тут у нее в первый раз появились слезы, – если… Обещайте мне, что расскажете. Обещайте!

* * *

Он пообещал почти без колебаний, поскольку был уверен, что она права, что мальчик больше не появится. Но на другой день он снова был на лужайке, ближе, чем обычно; он сидел на траве рядом с шезлонгом, обхватив руками свои теплые загорелые колени, и его густые светлые волосы блестели на солнце. На этот раз на нем была футболка с символикой «Челси». Садясь в шезлонг, мужчина мог бы протянуть руку и дотронуться до него, но не стал: такой жест казался совершенно невозможным. А мальчик посмотрел на него и улыбнулся как-то по-приятельски, как будто теперь они очень хорошо понимали друг друга. Мужчина попробовал заговорить. Он произнес: «Рад тебя снова видеть», и мальчик понимающе кивнул, хотя сам ничего не сказал. Это было началом общения – по крайней мере, того, что мужчина посчитал общением. Ему не пришло в голову позвать женщину. Он почувствовал, что каким-то странным образом рад присутствию мальчика. Мальчик держался очень мило и был почти неподвижен – все утро сидел там, иногда откидываясь на траву, иногда задумчиво глядя на дом, и в этом было что-то успокаивающее и приятное. Мужчина хорошо поработал: написал страницы три вполне разумного текста о стихотворении Гарди «Голос», отрываясь время от времени посмотреть, там ли мальчик и хорошо ли ему.

* * *

В тот вечер он пошел к женщине все рассказать – ведь он же, в конце концов, обещал. Она явно его ждала и надеялась – от ее неестественного спокойствия не осталось и следа, она взволнованно ходила из угла в угол, темные глаза ввалились. Рассказывая все это сочувственно слушающей его американке, он на этом месте посчитал нужным подредактировать рассказ, кое-что выпустить, – он, собственно, поступал так и раньше. Сказал только, что мальчик «выглядел как» погибший сын женщины, и дальше уже его как действующее лицо своей истории не упоминал; в результате рассказ, который услышала американка, был о том, как он сам все больше вживался в ее одинокое горе, как две их потери слились в двойной психоз, от которого он никак не мог освободиться. Дальше излагается не то, что он рассказал американке, хотя, наверное, понятно, в каких моментах отредактированная версия совпадает с тем, что, как ему казалось, произошло в действительности. У него было безотчетное поначалу чувство, что про мальчика лучше не говорить – не потому, что ему не поверят (это пустяки), а потому, что может случиться что-то ужасное.

– Он все утро сидел на лужайке. В футболке.

– «Челси»?

– «Челси».

– Что он делал? Он выглядит довольным? Что-нибудь говорил? – Ее желание знать было ужасным.

– Нет, не говорил. Он почти не двигался. А выглядел… очень спокойным. Сидел долго.

– Ужасно. Нелепо. Ведь нет же никакого мальчика.

– Нет. Но я его видел.

– Почему вы?

– Не знаю. – Пауза. – Он мне очень нравится.

– Он очень… он был очень славный мальчик.

* * *

Через несколько дней он увидел, как мальчик вечером бежит по лестничной площадке то ли в пижаме, махровой, с павлинами, то ли в тренировочном костюме. В пижаме, уверенно сказала женщина, когда он ей об этом рассказал. В своей новой пижаме. С белыми манжетами в рубчик, да? И с белым воротником, как у водолазки? Он подтвердил это, глядя, как она плачет – а она теперь легко начинала плакать, – и обнаружил, что ему очень трудно выносить ее тревогу и беспокойство. Но ему не приходило в голову, что можно нарушить свое обещание и не рассказывать ей о том, что он видел мальчика. Это было еще одно странное повеление какой-то неведомой силы.

Они заговорили об одежде. Если призраки существуют, как они могут появляться в одежде, которую давно сожгли, которая истлела или которую сносили другие люди? Можно представить себе, признали они, что от человека на какое-то время что-то остается, – полагают же жители Тибета, да и другие

тоже, что душа, прежде чем отправиться в свой долгий путь, какое-то время остается возле тела. Но одежда? Причем одежда разная. Наверное, я вижу ваши воспоминания, сказал он; она энергично закивала, сжав губы, согласилась и добавила:

– Я сойти с ума не могу, я слишком трезвомыслящая, и все передается вам.

Он попробовал пошутить:

– Не очень-то любезно намекать, что мне сойти с ума проще.

– Нет. Дело в восприимчивости. Я нечувствительна. Я всегда в какой-то степени была такой, а тут стало еще хуже. Если призрак захочет мне явиться, я его точно не увижу.

– Мы же решили, что я вижу ваши воспоминания.

– Да, решили. Это разумное объяснение. В нынешних обстоятельствах – самое разумное.

* * *

И все же блеск синих глаз мальчика, его приветственный жест и сдержанная улыбка на следующее утро никак не походили на чьи-то мучительные воспоминания о былом счастье. На этот раз мужчина заговорил с ним напрямую:

– Тебе что-нибудь нужно? Ты чего-то хочешь? Могу я чем-нибудь тебе помочь?

Мальчик, наклонив голову, словно ему было плохо слышно, казалось, немного подумал. А потом несколько раз кивнул, быстро, как будто дело не терпело отлагательств, повернулся и побежал в дом, оглядываясь, чтобы убедиться, что мужчина идет за ним. Вбежав в гостиную, мальчик на мгновение остановился посредине, и, быстро войдя вслед за ним через застекленную дверь, мужчина тоже остановился. После яркого света глаза не сразу привыкли к полумраку. Женщина сидела в кресле, глядя в пустоту. Она часто так сидела. Она подняла голову и посмотрела сквозь мальчика на мужчину. На лице мальчика в первый раз отразилось беспокойство, он снова встретился с мужчиной взглядом, в

котором читался вопрос, и бросился из гостиной.

– Что такое? Что такое? Вы снова его видели? Почему вы…

– Он сюда приходил. И вышел – через дверь.

– Я не видела.

– Значит, нет.

– А он – ох, это так глупо, – он-то меня видел?

Он не помнил. Сказал только то, в чем был уверен:

– Это он меня сюда привел.

– Ну, что делать, что мне делать? Убить себя – я думала об этом, – но что тогда я буду с ним – это же самообман, и я… Эта нелепость – ведь только благодаря ей я и чувствую, что он рядом, и оказаться ближе нам уже не дано. Он был здесь, со мной?

– Да.

И снова она заплакала. А он видел, как мальчик в саду ловко раскачивается на ветке яблони.

* * *

Оглядываясь назад, он не мог с уверенностью сказать, когда он, казалось, понял, чего от него хочет мальчик. И, рассказывая свою историю на вечеринке, он больше всего отредактировал, сократил именно эту часть – хотя в каком-то смысле он сделал прямо обратное. Из его рассказа следовало, будто он пришел к выводу, что этого хотела сама женщина, хотя на самом деле все говорило о том, что у нее не было других желаний, кроме желания увидеть мальчика, как утверждала она сама. Мальчик появлялся смелее и чаще, несколько вечеров подряд, на лестничной площадке; он входил в ванные, в спальни, выходил из

них, возбужденный, взволнованный, как будто даже что-то искал, пока до мужчины не дошло: он хочет, чтобы его возродили, чтобы мужчина дал его матери другого ребенка, в котором он мог бы спокойно раствориться. Мысль такая внятная, что похожа еще на одно повеление, хотя ему недоставало мужества попросить мальчика ее подтвердить. Может быть, он сдержался из деликатности – мальчик слишком мал, чтобы говорить с ним о сексе. Может быть, имелись другие причины. Может быть, он ошибался; эта история доводила его до истерики, он чувствовал, что нужно что-то сделать, что выход есть. Нельзя же всю оставшуюся часть лета, всю оставшуюся жизнь описывать несуществующие тенниски и светловолосые улыбки.

* * *

Он не мог придумать, как разумно подойти к этому делу, поэтому в конце концов просто однажды ночью пришел к ней в спальню. Она лежала и читала; когда он вошел, она инстинктивно попыталась спрятать – не обнаженные руки или шею, а книгу. Она, похоже, очень удивилась, увидев его у себя в спальне, в пижаме, а когда к ней вернулось обычное хладнокровие, решительно достала книгу и положила на одеяло.

– Мое новое пристрастие к недозволенной литературе. Храню в ящике под кроватью.

«Эна Твигг. Медиум». «Бесконечный рой». «Мир духов». «Есть ли жизнь после смерти?»

– Грустно, – констатировала она.

Он осторожно сел на кровать.

– Ну, пожалуйста, не убивайся так. Ну, пожалуйста. Как бы тебя утешить?

Он обнял ее. Она содрогнулась. Он прижал ее крепче. Спросил, почему у нее был только один ребенок, и она, похоже, поняла смысл его вопроса, потому что неловко и безучастно подалась к нему, явно уступая.

– Никаких особых причин, – заверила она, – никакой физиологии. Просто профессия мужа и отсутствие склонности, вот и все.

– Может быть, если бы ты как-то утешилась, может, была бы надежда, вдруг…

Значит, это чтобы утешиться, печально сказала она, потом откинулась, резким движением сбросив с кровати книжку, и осталась спокойно лежать. Он лег рядом, обнял ее, поцеловал холодную щеку, подумал про Энн, про то, чему уже не суждено быть. Послушай, сказал он ей, ты должна жить, попытайся жить; давай утешим друг друга.

– Не надо ничего говорить, – прошипела она сквозь стиснутые зубы; и он стал легонько ее гладить поверх ночной рубашки – груди, ягодицы, длинные напряженные ноги, сложенные, как у лежащей статуи на надгробии Елизаветинской эпохи.

Она не противилась; она задрожала, сначала слегка, потом сильно; он принял это за признак удовольствия, смешанного с болью: к камню возвращается жизнь. Положил руку между ее ног, и она неуклюже их раздвинула; он тяжело навалился и безуспешно попытался войти. Она была зажата сильнейшим спазмом. Это уже даже не фригидность, мрачно подумал он. Rigor mortis, подсказало ему сознание, трупное окоченение, – и тут она закричала.

Он почему-то рассердился. Вскочил и довольно грубо бросил: «Замолчи!» А потом – сердито: «Прости». Она перестала кричать так же внезапно, как и начала, и объяснила, как всегда намеренно немногословно:

– Секс и смерть – они несовместимы. Дать волю чувствам – этого я позволить себе не могу. Я надеялась. На то же, на что и ты. Зря мы это. Извини.

– Ничего, – сказал он и снова выбежал на площадку, испытывая неуместную и чуть не до слез сильную тоску по теплой, милой Энн.

* * *

Мальчик был на площадке. Ждал. Когда мужчина его увидел, тот посмотрел вопросительно, а потом отвернулся к стенке и, сжавшись, сгорбившись,

прислонился к ней; волосы мешали увидеть выражение его лица. Между женщиной и ребенком было сходство. Мужчина впервые почувствовал к мальчику чуть ли не злобу, а потом – нечто другое.

– Послушай, мне очень жаль. Я пытался. Я правда пытался. Пожалуйста, повернись.

Непреклонный, напряженный, зажатый вид сзади.

– Ну, ладно, – сказал мужчина и пошел в свою комнату.

* * *

Так что теперь, сказал он американке на вечеринке, я чувствую себя глупо, неловко, чувствую, что мы не помогаем друг другу, а друг друга раним, чувствую, что это не спасение. Конечно, сказала она, и вы, конечно, правы – на какое-то время это было необходимо, это вам обоим помогло, но вам же нужно жить своей жизнью. Да, сказал он, я сделал все, что мог, я пытался, но у меня ничего не получается. А у меня ведь должна быть своя жизнь. Послушайте, сказала она, я хочу вам помочь, правда; у меня есть замечательные друзья – те, у которых я сейчас снимаю квартиру; приезжайте, всего на несколько дней, просто передохнуть, а? Они очень чуткие люди, они вам понравятся, мне они нравятся, а вы могли бы привести свои чувства в порядок. Она, возможно, будет рада, если вы уедете, ей, должно быть, так же плохо, как вам; ей ведь в конце концов придется самой, по-своему приспособиться к своему положению. Нам всем приходится.

Он обещал подумать. Он знал, что с самого начала решил все рассказать этой отзывчивой американке, потому что чувствовал, что она будет – что она предложит – какой-то выход. А выход ему нужен. Он проводил ее с вечеринки до дома и, не зайдя к ней, вернулся к себе и к своей квартирной хозяйке. Они оба знали, что такая сдержанность таит в себе обещание: не зашел, потому что собирается прийти позже. Теплота и готовность, с которой она откликнулась, были как солнечный свет; она была такой открытой! Он не знал, что сказать той женщине.

* * *

Собственно, она сама ему помогла, спросив по-деловому: возможно, ему теперь оставаться неловко? Он ответил, что, кажется, ему и правда лучше съехать, от него так мало пользы… Прекрасно, согласилась она и решительно добавила, что всем будет лучше, если «все это» кончится. Он вспомнил, как уверенно она сказала, что иллюзии приятными не бывают. Сильная она: настолько сильная, что сама от этого страдает. Это окаменение, только и помогавшее выжить, не пройдет еще много лет. Но это уже его не касается. Он уедет. И все равно на душе было скверно.

* * *

Он достал чемоданы и положил в них кое-какие вещи. Нервничая, он пошел в сад и убрал шезлонг. Сад был пуст. За стеной голосов не было. Тишина стояла густая и гнетущая. Он знал, что больше не увидит мальчика, и подумал – а кто-нибудь другой увидит? Или теперь, когда он уедет, уже никто не будет описывать тенниску, сандалии, улыбку – виденные, существующие как воспоминание или как надежда. Он медленно вернулся в свою комнату.

* * *

Мальчик сидел на его чемодане, скрестив на груди руки; лицо его было серьезным и хмурым. Встретившись взглядом с мужчиной, он долго не отводил глаз, а потом мужчина присел на кровать. Мальчик не двигался. Мужчина услышал собственный голос:

– Ты же понимаешь, что я должен уехать? Я пытался что-то сделать, но не получается. От меня тебе толку нет, так ведь?

Мальчик думал, сидя неподвижно и склонив голову набок. Мужчина встал и подошел к нему:

– Пожалуйста. Отпусти меня. Кто мы здесь, в этом доме? Мужчина, женщина и ребенок, и ничего у нас не получается. Тебе ведь не это нужно?

Он подошел поближе – подойти вплотную не осмелился. Хотелось протянуть руку: она либо коснется мальчика, либо пройдет сквозь него. Но обнаружить, что

никакого мальчика нет, было выше его сил. Поэтому он остановился и повторил:

– Ну не получается у меня. Ты хочешь, чтобы я остался?

Он беспомощно замер, а мальчик после этих слов поднял голову и снова взглянул на него с сияющей, открытой, доверчивой, прекрасной, желанной улыбкой.

Ближняя комната[13 - Перевод М. Талачёвой]

Катафалк с открытыми окнами стоял на посыпанной щебнем площадке. Перед ним двое молодых людей в рубашках с аккуратно закатанными рукавами нежились на солнце. Имели полное право: погода изумительная, когда-то еще так славно пожаришься, если это слово здесь уместно. Выходя из темной часовни на яркий свет, Джоанна Хоуп сощурилась, слез не было; на молодых людей она взглянула с одобрением. Видно, что следят за собой: подтянутые, приятные, живые. Ее мать они доставили сюда в целости и сохранности, а везти ее куда-либо еще от них не требовалось. Нужно дождаться дыма, сказала миссис Стиллингфлит, тронув Джоанну сзади за рукав. У миссис Стиллингфлит глаза были мокрые, припухшие, но она уже не плакала. Позади нее стояли сиделка Доуз и священник, оба всем своим видом выражали скорбь, у обоих в глазах – ни слезинки. А больше никто не пришел.

«Дыма? – эхом повторила Джоанна, не сразу поняв, к чему это, но потом, сообразив, согласилась: – Да-да, дыма». Мемориальный сад манил, простираясь вдаль в ярком свете, недвижный под сенью нависающих арками ветвей, в сиянии роз, малиновых, золотистых и белых. Она выбрала сорт «пинк перпету», чтобы почтить память матери, розовый цвет той всегда очень нравился; каких-то десять минут назад миссис Хоуп лежала в обитом атласом гробу, одетая в мягкую розовую сорочку, которую дочь привезла ей из Гонконга (мать подарок берегла и не носила). Джоанна взглянула в небо над дымоходом; дымоход был кирпичный, 1920-х годов и чем-то напоминал мирную трубу деревенского дома. Небо пылало синевой, а воздух взбегал вверх тонкими струйками, некстати напоминая Джоанне о североафриканской пустыне, где так же тихо вскипал зной и где она когда-то сидела часами в джипе, записывая всех, кто изредка шествовал или проезжал мимо: шесть верблюдов, два мула, три грузовика, две

легковушки повышенной проходимости, шестнадцать навьюченных женщин; она сжимает папку-планшет, рядом рука Майка: золотистые волоски и пот вокруг парусинового ремешка его часов… Тем временем дым, густой, кремовый, начал окрашивать все еще струящуюся синеву. Джоанне показалось, что в нем видны мелкие черные кусочки, как будто остатки сгоревшей бумаги. Дрожь пробежала по ее телу, и решительно, хотя и не без стыда, она дала этому ощущению имя. Эйфория. Она охватывала Джоанну время от времени, из раза в раз все сильнее и сильнее, с того самого момента, как сиделка пришла к ней почти на рассвете с печальной вестью. Теперь ее мать превратилась в свободный углерод и поташ. Всё кончено. Послушная дочернему долгу, Джоанна отдала ей бо?льшую часть своей жизни, в ответ получая то благодарность, то упреки. И вот – всё. Всё кончено. «Она ушла в лучший мир, я знаю», – сказала миссис Стиллингфлит, глядя на безмолвные аллеи роз. «Упокоилась с миром», – согласилась Джоанна, не желая возражать, хотя и была абсолютно убеждена, что никакого лучшего мира нет, что конец – это конец. Да и сама миссис Стиллингфлит, которая с почти ангельским терпением сносила от покойницы насмешки, издевательства и оскорбления, наверняка была бы рада так думать, рассудила Джоанна. Она уже сообщила миссис Стиллингфлит, что миссис Хоуп оставила ей пятьсот фунтов стерлингов, хотя это было не так; Молли в свое время съязвила в ответ на подобное предложение дочери: Стиллингфлит и зарплату-то свою, весьма щедрую, едва ли заслуживает, а уж получить круглую сумму после моей смерти – нет и еще раз нет. Без миссис Стиллингфлит, а под конец и без сиделки Доуз Джоанне пришлось бы тяжко. Все эти годы, пока Молли болела, Джоанну не увольняли с работы, из журнала «Обозрение экономического развития»; не настаивали они – надо отдать им должное – и на заграничных командировках, полевых исследованиях. Она освоила компьютер и обрабатывала статистику, которую собирали другие. Увязывала все воедино. И теперь наконец – как она и хотела, когда выбирала профессию, – перед ней открылся весь мир. Вот только ей уже пятьдесят девять.

* * *

В доме, который стал ее домом, еще везде чувствовалось присутствие матери. Раздастся тихий шум, шорох или дребезжание, и Джоанна тут же ловит себя на мысли: это мать поставила чашки на русский металлический поднос или передвигает стаканы для зубных щеток в ванной. Она зашла в свою собственную спальню, комнату, где жила, когда только начинала работать в «Обозрении», а отец в ту пору вдруг ни с того ни с сего ушел из Министерства обороны. Из зеркала на нее спокойно смотрели ее же глаза. Довольно симпатичная, высокая,

худощавая женщина в шелковом плиссированном платье, темно-синем в белую крапинку, аккуратно постриженные волосы густо пронизаны сединой. Комната выходила окнами на север, на дорогу. Родительская спальня и комната на первом этаже – поначалу в ней завтракали, а потом здесь поселилась мать – смотрели на юг, в сад, – из-за этого сада дом и был куплен. Я продам дом, подумала она, осматриваясь в безопасной глубине этой, надо сказать, холодной комнаты. И начну все сначала. Торопиться не буду, сперва все хорошо обдумаю. Комната какая-то безликая, на окнах – гардины из шелка, темно-зеленые. Скрипнула лестница, хотя на нее никто не ступал. Джоанна прошлась и по всем остальным, пустым комнатам. И везде ей казалось, что мать где-то рядом, хотя было ясно, что ее уже нет. Сильнее всего присутствие Молли ощущалось в гардеробной: тут и там под пастельным кримпленом миниатюрных платьев как будто просматривалась все более худая, костлявая фигурка миссис Хоуп. В глубине, в темноте Джоанна разглядела непромокаемый плащ отца и его садовую куртку. Он умер двенадцать лет назад. На полке пылилась его твидовая шляпа, бледно-голубая в елочку. Бо?льшую часть вещей отца за эти годы Джоанна отдала собственноручно: складывала темные костюмы в черные мешки для мусора и везла в Армию спасения. Такие костюмы приходились особенно кстати. В них безработные выглядели прилично на собеседованиях, кому-то, наверное, даже удавалось получить работу. Джоанна никогда не понимала, как могла Молли так спокойно жить среди вещей, когда-то принадлежавших Дональду. Его опустевшую кровать, рядом со своей, мать так и не вынесла: лежала ночью под светом своей лампы с бахромой и клипсой, пила – порой брюзжа, порой благостно – успокоительное «Бенджерз фуд»,[14 - Порошок, который растворяют в теплом молоке и принимают на ночь пожилые люди в качестве успокоительного средства.] разведенное Джоанной в молоке, а по соседству, под покрывалом из переливчатого шелка, проступали прямоугольные контуры отцовского матраса, и была такая же настольная лампа с выключателем в форме яйца на шнуре, потушенная.

Теперь пусты обе эти кровати, а заодно и та, на которой Молли спала в последние годы, внизу, в самой симпатичной комнате с эркером, выходящим на лужайку. Весной эркер был увит длинными плетями глициний, а летом вокруг него расцветал жасмин. Материн пеньюар так и лежал в ногах кровати, рядом все еще тикал будильник. В порыве скорби и безудержного желания убрать все это с глаз Джоанна бросила и то и другое в плетеную тростниковую корзину для белья, бледно-зеленую, отделанную тесьмой. Часы проклохтали в знак протеста, и она почувствовала не стесненную чужой сердитой волей свободу, как будто теперь она могла прыгать в этой комнате через скакалку, или прокричать что-то, или покружиться – и никто ее не услышит и не заругает. В корзину отправилась

и щетка для волос. Было что-то зловещее и одновременно трогательное в последних седых волосках, поблескивавших среди толстых натуральных щетинок. Она вслушалась в тишину пустой комнаты. За окном, на лужайке, протрещал дрозд. Джоанна стояла в эркере и смотрела, как он выхаживает с деловито-нахальным видом, поглядывая по сторонам. Лужайка пестрела белыми маргаритками и розовыми лепестками, которые совсем недавно благоухали на плетистых розах, увивающих перголу. В саду все цвело в лучах летнего солнца. Под этими розами они с матерью и развеяли прах отца – развеяли молча, так и не сойдясь во мнениях по поводу «садового украшательства». Молли перголу не одобряла, называла ее «отцовской причудой». Слишком она была большой и чересчур выдавалась там, где стояла, в этом мать была права. Но отец любил перголу, любил розы «альбертин», «мадам альфред каррье» и «мадам грегуар стэшлен». Джоанне нравилось думать, что теперь он, возможно, слился в единое целое с этой растительной красотой, с чудесными розами, которые взбирались по деревянной арке, и спускались к земле, и дышали. Отца она не очень хорошо знала и совсем не понимала: он виделся ей через разочарование, осуждение, гнев и отвращение Молли. Теперь, стоя в пустой комнате матери, она смотрела из окна на его перголу и вспоминала о нем мирно.

Джоанна собрала себе на подносе подобие ужина, намереваясь посидеть с хорошей книгой, без телевизора, – в последние годы мать, а заодно с ней и дочь жили под все возрастающим игом длинных сериалов, которые Молли вначале называла плебейскими и на которых потом, нежданно-негаданно, просто помешалась. «Даллас», «Династия», «Жители Ист-Энда», «На краю тьмы». К сериалам примкнули и спортивные трансляции: Уимблдонский турнир, чемпионаты мира по снукеру и по футболу. Давай позже, дорогая, сейчас начнется мой сериал. Непременно «мой», как будто телекомпании составляли программу в первую очередь исходя из интересов миссис Хоуп. Матовый, серый, потухший экран острее всего напоминал о том, что матери здесь нет и больше не будет: в нем отражалась мебель родительской гостиной, как будто слегка раздувшаяся, и смутно различимая фотография маленькой Джоанны. Я продам дом, вновь сказала она себе, разбивая ложечкой скорлупу яйца. Как можно скорее, но сперва разберусь, чего теперь хочу от жизни. Обдумаю все спокойно, чтобы не наделать глупостей. В экране отражался особый мешок для рукоделия, в котором Молли хранила спицы и пряжу, гобеленовый, с деревянными ручками. Смотреть на него было невыносимо. Джоанна встала, на середине яйца, убрала мешок в ящик письменного стола и опять села на место. Куда же деть недовязанный пестрый пуловер с безумно сложным узором?

Ловя себя на мыслях о матери, Джоанна вдруг поняла, что воспринимает ее отсутствие двояким образом. Во-первых, она ждала, что та вот-вот войдет, либо воинственно настроенная, либо в облаке самоиронии, сядет в свое кресло и начнется: сходи за тем, убери то. От этого ожидания, уже почти не причинявшего неудобств, Джоанне становилось немного не по себе: ведь мать уже никогда не придет; это был автоматизм, который не выключался ни усилием воли, ни доводом разума. Во-вторых, думая о матери, Джоанна припоминала многое, очень многое; потом в мыслях Джоанны эти памятные клочки обретут форму коллажа. Подобный коллаж был у нее и в школе для девочек, во все долгие и нудные годы обучения; картинки, как в комиксе, цветные заплатки – она будто выреза?ла их в уме ножницами, нескладно составляла друг с другом, внахлест или со щелями, и под всем этим как бы подписывала: «Моя мать». На самом деле коллаж не имел ничего или почти ничего общего с живым человеком в тапочках, который больше не будет семенить между Клиффом Торбурном[15 - Клифф Торбурн (р. 1948) – канадский профессиональный игрок в снукер.] и тостером, не возьмет спицы и не будет считать петли. В школьные годы Джоанны ее коллажная мать, как большинство матерей других учениц, носила вычурные, несуразные шляпки. Она навсегда застыла, как карающий ангел, в дверях детской, когда пятьдесят четыре года назад ругала дочь за испачканный красками ковер. В коллаже был и утешительный уголок: мать стояла на кухне с деревянной ложкой в руках, капала кошениль в сахарную глазурь для именинного торта – торты ей особенно удавались и нравилось радовать дочь. Джоанна принялась поворачивать коллаж, как калейдоскоп, и перед глазами вдруг предстали острые углы, зазубрины – длинными мерцающими вечерами, сидя в одной комнате с матерью, она никогда бы не решилась на них взглянуть: как бы Молли не подсмотрела что-то, не подслушала ее мысли. Многое было связано с ушедшим отцом, который уходить начал задолго до того, как действительно задохнулся и умер. Из-за преждевременной – назовем это так – добровольной отставки он находился дома безвылазно, но жизнь его будто съежилась, ограничилась территорией Молли, задворками сада, костром и компостной кучей, борьбой со снытью, которая лезла от соседей. Молли всегда многого ждала, требовала от жизни, но не получила и постоянно твердила о своем разочаровании. Джоанна не могла и теперь уже не сможет с уверенностью сказать, чего же ее мать хотела: скорее всего, не ставя перед собой личных целей, просто желала состояться при ком-то, быть женой влиятельного и преуспевающего человека. (Жизнь самой Джоанны, ее «благотворительная работа в нищих странах» воспринимались матерью как прямая противоположность ее, Молли, устремлениям.) Иногда Джоанна даже думала, что мать вышла за отца просто потому, что он был ближайшая для нее ступенька хоть к какому-то влиянию и успеху. Он был умен, застенчив,

церемонен; для дочери мелкой почтовой чиновницы – завидная партия. Отец мог дослужиться до замминистра или даже выше. Он никогда не говорил о службе, а потом вдруг неприятность, «глупая история, в которую влип твой отец», – что там случилось, Джоанна так и не узнала, – и его карьера оборвалась.

Он заболел почти сразу, и года не прошло. Заболел изнуряющей болезнью. Однажды Джоанна услышала, как он произнес, стоя в оранжерее: «Я долгое время проводил без пользы, зато и время провело меня»,[16 - Шекспир У. Ричард II. Акт 5, сц. 5. Перев. М. Донского.] но обращался он не к ней, а к своим лилиям. Он и Молли ничего не говорил, она же ему многое высказывала; и Джоанна всегда с горечью сознавала, что ее саму отец воспринимал как продолжение жены. У него были тонкие, похожие на паутину, седые волосы, которые он, когда работал, приглаживал наспех водой. Когда силы стали его покидать, он совсем поседел, лицо сделалось худым, мертвенно-бледным, покрылось длинными, тонкими нисходящими складками и бороздками и, съеживаясь все сильнее, превратилось в перекрестье морщин. Глаза у него всегда были бледные, серые, как дым. Так он и бродил среди дыма от разведенных им костров, в сером пуловере с треугольным вырезом, захватывая все меньше и меньше веток и сорняков, серый, как привидение. К большому удивлению Джоанны, прах, который она развеивала над корнями «мадам альфред каррье», оказался кремово-белым.

Медленное угасание отца, а точнее, то, как обращалась с ним Молли в то время, отразилось в коллаже. Вот после судьбоносного разговора с врачом она объявляет: «В общем ничего страшного: просто ему нужно собраться с духом, и все наладится». А вот мать раздражается от одного его присутствия, что бы он ни делал, – ей все не по нраву. Давно, когда Джоанна была еще маленькой, он повадился по вечерам выпивать кружку пива. Молли этого не одобряла, говорила, что запах ей противен, мол, ее от него тошнит. (Джоанне запах пива тоже не нравился, поэтому в споре она соблюдала холодный нейтралитет.) Не успевал отец допить, как Молли выхватывала у него кружку – в пенной бахроме на ее краю еще шипел воздух – и бежала мыть ее и долго терла, поджав губы. А после она обращала внимание Джоанны на каждую, даже малейшую отрыжку отца. Папин животик все время ворчит. Издает ужасные звуки. Все из-за этого пива. Фу, гадость. И так изо дня в день, даже в последние его годы, когда организм его начинал отказывать и скромные отрыжки стали неизбежны, она громко высказывала отвращение, даже не дожидаясь, пока отец выйдет из комнаты. А он как будто не слышал; пиво пить он перестал много лет назад. Спор по поводу растений был тяжелее и длился дольше. Отец обожал растения, умел с ними обращаться. В оранжерее цвели, источая тонкие запахи, разные

экзотические виды. Дай ему волю, каждый подоконник утопал бы в зелени, каждый стол издавал бы свой собственный аромат. Он вносил цветы из оранжереи в дом осторожно, по одному или по два, а Молли решительно, быстро водворяла незваных гостей в их законное обиталище, нередко пристраивая ненадежно на краю полки, ломая нежные ростки. «В земле полно заразы, – говорила она. – Ты же знаешь. Всему свое место». Из-за двойных стекол на подоконниках воздуха им не хватало. Коллажная мать Джоанны размахивала цветочным горшком, лицо ее пылало от гнева. Но не все было так однозначно. После смерти Дональда она – хотя такого необычайного поворота ничто не предвещало – сама ухаживала за растениями, неумело, но усердно, спасала что могла, размножала отводками и черенками. Гордостью мужа была коллекция рождественников,[17 - Другое название – зигокактус, декабрист или шлюмбергера; кактус без колючек, который не переносит жару и очень любит влагу.] которые цвели зимой: на концах мясистых отростков ненадолго распускались яркие цветы. Он вывел новый их сорт и спросил жену, как его назвать: «молли хоуп» или «миссис дональд хоуп». Молли ответила, что ей до этого нет никакого дела. Растение с лососево-розовыми, яркими цветами получило в итоге название «джоанна хоуп» и теперь стояло, во множестве экземпляров разного возраста и величины, на подоконниках и подставках по всему дому. Даже в комнате Молли.

Больше всего кусочков в коллаже из образов матери было связано с болезнями. Отца окончательно приковало к постели, когда Джоанна была в последней своей поездке по Африке. Достаточно долго Молли, несмотря ни на что, проявляла стойкость, была поддержкой и опорой, которой восхищались и которой доверяли врачи и соседи, готова была делать все, что нужно. Когда Джоанна вернулась, мать начала разваливаться прямо на глазах. Давление – «Я чувствовала, что оно не такое, как всегда, дорогая, но, когда доктор Хайет объяснил, насколько все плохо, я просто пришла в ужас. Я слишком усердно ухаживала за твоим бедным отцом, это не могло не сказаться». Сильное сердцебиение, синеющие губы, немеющие плечи, вялость в ногах и в довершение обморок – она упала прямо к ногам Джоанны, когда та собиралась сообщить, что отправляется в Бирму изучать перспективы местного дорожного хозяйства. Нам уже немного осталось, заявила тогда, двадцать лет назад, Молли, выпрастывая дрожащую руку из-под трикотажной ночной кофточки. Знаю, что многого прошу, но это ненадолго, а потом ты будешь свободна как ветер. Болезни были ненадуманные: Джоанна узнавала у врачей. Они придавали Молли Хоуп безмятежность и достоинство. Физическое страдание было своего рода жизненным занятием. Меня уволят, сказала тогда Джоанна, по контракту я не могу отказаться от поездки. Но начальство проявило великодушие, пошло навстречу. Цивилизованное общество:

когда дело касается нуждающихся и беспомощных, всегда находится компромисс. После смерти Дональда Молли стало немного лучше, они отдыхали в долине Троссачс[18 - Лесная долина в Шотландии, в области Стерлинг.] и однажды даже добрались до Парижа. А там миссис Хоуп попала в толпу бешеных танцующих цыганят: они выхватили у нее сумочку, махали перед носом газетами и кусочками каких-то коробок, все это под пронзительное гипнотизирующее улюлюканье. Джоанна живо вспомнила ее такой, какой она была тогда: не понимает, что происходит, крутит своей головкой из стороны в сторону, вся дрожит, от бессильной ярости тихо капают слезы. Дома, мохнатая куколка в простынях, она и сама могла запугать кого хочешь. А там – жалкая, маленькая, растерянная… Джоанна стоит и не знает, что делать, чем ей помочь. «Прости, мама!» – вскрикнула она тогда, как будто была виновата, и мать тут же окинула дочь своим обычным, полным осуждения взглядом – от потерянности, охватившей Молли, не осталось и следа.

* * *

Надо же, зуб болит, заметила Джоанна. Должно быть, нервы; Молли тоже без конца ставили то невралгию, то мышечный ревматизм. Вспомнив, как на пыльной парижской улице над матерью издевались сорванцы, Джоанна слегка раздражилась. В ней проснулась жестокость. Она включила телевизор, не в силах больше терпеть тишину. Выступал вождь индейцев, весь в наряде из черно-белых перьев, старое лицо в морщинах задумчиво. «Мой народ, – говорил он, – слышит голоса родных созданий. Мы любим землю, которую вы, белые, раздираете своими железными дорогами и выравниваете под пашню. Мы слышим голоса духов – наших предков, они рядом с нами, они не ушли, они в траве, в деревьях, в камнях, которые мы знаем и любим. Вы отправляете своих предков в закрытых ящиках на свои далекие Небеса. Мы же своих оставляем в охотничьих угодьях для духов, на родном воздухе. Мы остаемся поблизости. Наверняка вы, когда рыскаете среди наших деревьев со своими трескучими ружьями, не замечаете у себя за спиной целые отряды наших предков, их не видно, но они есть, они живут на нашей земле». Был это, как говорилось в титрах, настоящий вождь, которого снимали в 1934 году: призрачное лицо поверженного изгоя, давно превратившегося в прах, беззвучно шевелящее губами, однако несокрушимое, властно вещающее. В гостиной Джоанны замелькали призраки дрожащих ветвей, лепечущей ледяной воды; тишину нарушил, с треском ступая по сухим веточкам, белый охотник, а за его спиной повисла тишина еще бо?льшая. Хотя иноземные лица и неразоренные земли Джоанну всегда привлекали, ей стало не по себе. В Черной Африке духи

приходили пить кровь детей и душить их; в Южной Африке духов задабривали на перекрестьях дорог, в местах построек пучками окровавленных перьев и початками кукурузы. А в гостиной в графстве, неподалеку от Лондона, если что и гудело, то электричество, если что и постукивало в подвале, то наверняка длинные усики ползучего растения, искавшего, к чему прикрепиться. Где теперь ее мать, куда делись частицы пепла и дым? А зуб все ныл и ныл, и боль эта постепенно становилась дергающей.

* * *

Боль не унялась и на следующий день. Коллеги по «Обозрению» решили, что она сама не своя от горя, уговаривали посидеть дома, прийти в себя, они легко справятся без нее, – этого она как раз и не хотела.

– Все нормально, просто зуб болит, – объяснила она Майку ближе к обеду.

Майк проводил больше времени в командировках за границей, чем в Англии; Джоанне, можно сказать, повезло, что, когда умерла Молли, он был здесь, приехал на три месяца. Майк – ее единственный любовник и вот уже много лет единственный верный друг – сразу понял, что она говорит правду.

– Тогда сходи к зубному. Но все-таки, наверное, ты и печалишься.

Джоанна хотела поскорей рассказать ему о своем небесконечном, но важном будущем, о том, что могла бы снова заняться полевой работой, посмотреть другие части света, но с ними сидела его теперешняя ассистентка Бриджит Коннолли, темненькая, симпатичная, только что вернулась из Японии с курсов. Чтобы Бриджит ничего такого не подумала, Джоанна ответила:

– Конечно, мне не хватает матери. Я еще не до конца осознала, что ее больше нет. Слышу, как она роется в сервантах, передвигает что-то в оранжерее, ну, как обычно бывает. Но я знаю, что сделала что могла, теперь все закончилось, и я, по правде сказать, вздохнула с облегчением. Эта часть моей жизни завершена. Я продам дом. Когда решу, что делать дальше.

И тут заговорила Бриджит. Да с таким напором, как будто сообщала что-то, о чем не поведать, промолчать просто нельзя; рассказ ее был в тему.

– В Токио я каждый день завтракала с умершим дедушкой семейства, в котором жила. Он присутствовал всегда – то есть в центре стола была его фотография, – мы все с ним здоровались и ставили перед ним немного еды. Все они уходили на работу ужасно рано, и мне приходилось завтракать с ним вдвоем, служанка приносила нам обоим чай и почтительно интересовалась, понравилось ли ему. Старик был ужасно свирепый на вид. Он так и остался хозяином в доме, с ним советовались обо всем.

Немного помолчали. Затем Бриджит и Джоанна заговорили одновременно.

– Простите, просто у меня случился культурный шок, вообще страшновато было, я только это хотела сказать… – начала Бриджит.

– А я вот совершенно убеждена, что смерть – это конец. Человек просто уходит в никуда, как приходит из ниоткуда. Вот и все, – сказала Джоанна.

– Давай-ка я позвоню своему зубному и попрошу, чтобы принял тебя без записи, – предложил Майк Джоанне. – За счет «Обозрения». Я так уже делал. Ну какая с больным зубом из тебя работница? Ты и выглядишь очень устало.

Он ободряюще коснулся ее руки и руки Бриджит. Молодая женщина живо взглянула на него, благодаря за понимание, сочувствие ее мыслям. А Джоанна уставилась в стол, будто вспоминая что-то. На самом деле она смутилась – да, это слово как раз подходит, – представив, что Майк переезжает в дом, в котором раньше им было бы невозможно из-за родителей поселиться вместе. Она считала, что любит его, хотя никогда, ни на минуту не сомневалась, что он-то предпочитал жену – как в постели, так и вообще, – и благодаря этой уверенности она чувствовала себя удобно с моральной точки зрения: не испытывала вины перед его женой, не стремилась ее оттеснить. И вот он уже звонит по телефону, а она смотрит на него и думает, что у нее-то предки были, а сама она предком никому не будет и на ней оборвется какая-то генетическая цепочка. Может, это ненормально, что ее не влекло к нему – или к кому-то еще – гораздо сильнее? Вот если бы вернуться назад во времени. Голая пустыня и ее собственные молодые глаза – в поисках признаков жизни, молодые глаза, молодое лицо, молодое тело… Как же дергает зуб! Майк положил трубку.

– Джоанна, мистер Кестелман тебя примет. У него сейчас еще кто-то с острой болью. Но он посмотрит вас обоих без очереди. Я вызову тебе такси.

* * *

В приемной стоматолога все было белое, продуманное, ничего лишнего – нечто среднее между модерном и классической зубной клиникой. Белые стены, столы с белыми меламиновыми столешницами без пятен и без царапин, свет исходит из огромных матовых белых чаш на хромированных подвесах или ногах. Что-то вроде бесцветной капсулы времени из научно-фантастического фильма: интерьер успокаивает и одновременно вызывает легкую тревогу. Никаких тебе цветущих растений, ни намека на пыль. Когда Джоанна пришла, там уже сидела женщина и заметно нервничала. Это у нее тоже острая боль. Джоанна села на белый твидовый диван, закрепленный на хромированных цепях с кожаной оплеткой, ноги она поставила, сдвинув ступни, на кремовый берберский коврик. Вторая пациентка сидела напротив и без остановки листала пачку глянцевых журналов. Ее белые волосы были уложены завитками вокруг лица, пряди подлиннее спадали до плеч: эти волосы выглядели ухоженными, блестели, как крученый шелк, светились жизнью. Кожа у нее была темноватая, не из тех, что называют сухой. Сколько ей лет, не угадаешь. На ней был красновато-коричневый свитер из ангоры с большим полукруглым вырезом, вышитым по краю блестящими бусинками и бисером. Вырез открывал взору часть груди, округлой, тугой, почти без пигментных пятен. Дама была накрашена щедро, но ее это не портило, помада цвета фуксии – под свитер, ободки фиолетовых теней между черными ресницами и серебристыми бровями. В ушах – серьги-обручи, как у цыганок, серебряные, не золотые. Джоанна приложила ладонь к щеке, чем дала повод женщине заговорить.

– Болит? Сильно?

– Ощутимо.

– Я боли боюсь. Точнее, боялась, было время. Мистер Кестелман считает, что у меня абсцесс. Ничто не помогало, вот я и пришла к нему. А самой совестно. Я пыталась вылечиться другими средствами, но не получилось.

– Другими?

– Силой мысли, так иногда говорят. Самовнушением. У меня дар. Удивительный дар, не знаю, слышали ли вы что-нибудь о таком, он у меня открылся совсем

недавно. У меня получалось такое! Удивительные исцеления – просто уму непостижимо, но почему-то свою боль я облегчить не могу. Врачу, исцелися сам. Наверно, из-за боли я не могу сконцентрироваться. Муж предложил попробовать традиционную медицину, ведь она тоже не просто так существует и многим помогла. И вот я здесь.

– И как вы открыли в себе этот дар? – спросила Джоанна вежливо и с некоторым любопытством.

– Это достаточно часто случается после ОСП. Естественно, я этого не знала. Но оказывается, у многих, кто испытал ОСП, такой дар есть.

– ОСП?

– Околосмертные переживания. Я перенесла клиническую смерть, меня вернули к жизни. Честное слово. – Она засмеялась, засмеялась и Джоанна, и обе приложили ладони туда, где болело. – У меня был сердечный приступ два года назад, а по мне и не скажешь, да? Я перенесла клиническую смерть, перестала дышать, все отключилось, но меня вернули к жизни. И пока я была мертва, со мной произошло нечто удивительное. После этого жизнь моя стала другой. Совершенно другой.

– Что же случилось? – спросила Джоанна, хотя это было излишне, ведь ей встретился старый мореход,[19 - Тот, кто утомляет долгим скучным рассказом: по названию произведения С. Т. Кольриджа «The Rime of the Ancient Mariner», в разных переводах «Поэма о старом моряке» или «Сказание о старом мореходе».] а таким только дай волю – всю свою жизнь перескажут.

И женщина тут же начала свой хорошо отточенный рассказ, ход которого нарушался лишь приступами зубной боли.

– Я много лет об этом не говорила, думала, никто не поверит. Но все время знала, что это правда, правды в этом больше, чем во многом другом, если вы понимаете, о чем я, правдивее не бывает. А было так. Я взлетала выше и выше над собой, видела, как лежу на полу, – все случилось в подземном переходе на станции метро «Пимлико», – видела свое тело, оно там лежало распластанное, как какая-нибудь кожура от банана… а я быстро двигалась вверх по такому туннелю или воронке, на другом конце – проем и свет, описать его невозможно,

очень яркий. И больше всего на свете я хотела войти в этот проем. Это было блаженство. Такое блаженство, что не передать словами. Я подобралась ближе, и меня впустили какие-то фигуры, я оказалась посреди зеленого луга – все кругом чисто и зелено, и я поняла, насколько грязна наша бедная Земля, – такую чистую зелень, как там, невозможно себе представить. А на другом конце луга – одноэтажный сельский домик, такой приятный, с садом, в котором полным-полно пионов всех сортов, и я подумала, маме бы такое очень понравилось, она всегда говорила, что представляет себе Небеса как домик, не доставляющий много хлопот, и сад, полный пионов. И вот я подошла к двери, и они все были там внутри: мама, и папа, и дядя Чарли, который мне никогда особо не нравился, и тетя Берил, и такая тиховатая дама, я знала, что это моя бабушка, хотя никогда ее не видела, она умерла до моего рождения, потом по фотографиям я убедилась, что это и впрямь была она. Все такие молодые и здоровые. А как же пионы пахли! Мама пекла пирог, а я встала в дверях и сказала: «Можно мне к вам, мама? Тут так красиво». А мама ответила: «Нет, пока нельзя. Этот пирог для дяди Джека. Не для тебя. Тебе еще рано. Тебе нужно вернуться. Ты нужна там». И появился сияющий такой человек, с темной кожей, похож на индейца, прошел по дорожке и сказал – он ничего не говорил, но я слышала, как он обратился ко мне: «Нет, Бонни, ты должна вернуться, тебе еще рано, ты должна еще кое-что сделать, есть люди, которым ты нужна». И вот я вновь оказалась в своем теле, в реанимации в больнице Святого Георгия, слышу, как они кричат: «Дышит!» И с тех пор я знала. Знала, что смерть – это не плохо и не страшно. Но остальное: дар исцеления и ясновидения и прочее – обнаружилось, когда я пришла в академию.

– В академию?

– В Академию возвращения. Это исследовательская группа и терапевтическое сообщество. Понимаете, оказывается, в том, что я испытала, нет ничего необычного, по крайней мере если сравнивать с другими ОСП. Все они, похоже, одинаковые, во всех культурах и религиях: туннель, и свет, и фигуры, и встреча с родителями…

– У меня только что умерла мать, – неожиданно для себя произнесла Джоанна.

– Вот видите. Наши пути пересеклись, потому что вам нужно узнать то, что я могу передать. Эта наша зубная боль неспроста, вот почему я не могла справиться со своей; конечно же, наша встреча была предначертана.

– Но… – начала Джоанна; боль бешено пульсировала. «Как сказать, что мне до Небес нет дела, мне бы…»

Из внутренней комнаты выглянула фигура в белой одежде и кивнула.

– Миссис Рут, проходите, пожалуйста.

Миссис Рут поднялась, немного дрожа, посмотрела на Джоанну в надежде на поддержку и переступила порог.

* * *

Джоанна вспомнила Молли, какой та была в последние месяцы жизни, как жаловалась на шум. Вспоминать, в чем конкретно заключались жалобы, Джоанне не хотелось, но они оживали в ее голове, в другом свете. Молли просыпалась под звуки автоматической чаеварки со встроенным радио и голоса? дикторов Би-би-си, зачитывающих мировые новости: их болтовня ни о чем, передаваемые ими слухи смешивались с исчезающей пеленой ее тревожного сна, сонмом полуразгаданных созданий из сновидений и кошмаров. По крайней мере, так это представлялось Джоанне с тех пор, как однажды она опробовала это устройство на себе и ощутила, как ее сознание то проваливается в тревожную дрему, то выныривает из нее, но тревога была не ее – и это она смутно ощущала, – а Молли. Так или иначе, подумала Джоанна, последние образы, если их можно удостоить такого названия, которые видела мать перед пробуждением, порождались этим бытовым прибором. Хотя миссис Хоуп, нужно признать, настаивала, что это не так. Ей хотелось сочувствия, которого Джоанна не могла ей дать. «Часто я не знаю, дорогая, – говорила Молли, пытаясь описать свои ощущения, – просыпаюсь я уже или еще сплю, толком не понимаю, где я, но слышу, как в другой комнате страшно ссорятся твои бабушка и дедушка. Они близко-близко, не видят и не слышат меня до поры до времени, но вот-вот на меня переключатся, втянут в свой спор… а я ведь всегда так старалась этого избежать…»

В другой раз: «Эх, Джоанна, они ждут меня, чуть не сказала – подстерегают, но нельзя же так ужасно говорить о своих родителях, да? Когда я умру, ты по мне не скучай, дорогая, живи для себя и знай, что я благодарна тебе за все, что ты сделала, даже если я часто… просто злая, вздорная старуха. Мое время вышло, вот и все. Если я потратила его зря, уже ничего не поделаешь».

На следующий день: «Я все лучше и лучше понимаю, что? они говорят там, в ближней комнате. Все по-прежнему, ничего не изменилось. Мама жалуется, что ее не замечают, а папа – что к нему придираются и используют его, как всегда…»

«У тебя в голове просто всплывают старые воспоминания, мама. В этом нет ничего необычного. Люди, когда им за семьдесят, помнят то, о чем не вспоминали лет тридцать». – «Да. Но из-за их ссор я не могу спать. И не могу очнуться от сна настолько, чтобы больше их не слышать».

* * *

Бонни Рут вышла из кабинета врача, прижимая к лицу комок салфеток, как огромный пион, края лепестков которого запятнаны ярко-розовой помадой и алыми потеками крови. Мистер Кестелман примет вас через минуту, сообщила ассистентка Джоанне. Бонни Рут села на диван, ее выразительное лицо припухло и казалось застывшим.

– Больно было? – спросила Джоанна.

Бонни помотала головой. Она вытерла губы, открыла сумочку, протянула Джоанне визитку и произнесла осторожно, невнятно:

– Нам суждено было встретиться, дорогая, вот что все это значит. Держите адрес. Приходите, когда почувствуете, что мы вам нужны. Если почувствуете.

На карточке значилось: «Академия возвращения. Танатология и учение о жизни после смерти. Терапевтические группы: мы заботимся как о духовном, так и о физическом здоровье. У нас вы найдете ответы на вопросы, которые вас всегда интересовали. Приходите и убедитесь сами».

* * *

Мистер Кестелман без лишних слов, технично в своем стерильном кабинете удалил Джоанне один зуб, на котором, как он объяснил, вдоль и поперек пошли мельчайшие трещинки, и в итоге он раскрошился. Ей ни в коем случае нельзя

трогать сгусток крови, дыра под ним рано или поздно зарастет. Джоанна попробовала кровь на вкус: как мясная подливка с железом; казалось, из ее головы временно вынули огромный кусок. Она тяжело кивала в ответ на его указания, среди которых было: сразу же пойти домой, лечь и попытаться уснуть, чтобы прийти в себя после такого вмешательства. Необычайно щедрый в мелочах, он напихал ей в сумочку бумажных салфеток и небольших герметичных пакетиков с болеутоляющим. «Когда наркоз отойдет, вас будет немного подташнивать вначале, – сказал он ей. – Не волнуйтесь. Это временно». Он наказал ей не водить по дыре языком, и она виновато убрала кончик языка от того, что казалось огромным дряблым кочаном, невесть как возникшим на месте удаленного коренного зуба – сияющей крепости из рекламы зубной пасты времен ее детства. Молочные зубы, с красной каймой и без корней, выпадали, а под ними обнаруживались важные пилообразные гребни взрослых, настоящих. Она помнила те ощущения и ту быструю детскую мысль – как, оказывается, сложно ты устроен. Странно было сознавать, что на этот раз замены не будет.

* * *

Дом был неприветлив, суров, полон укоризны. Джоанна быстро прошла, отгородившись от всего, в свою спальню и занавесила окна, чтобы, как советовал врач, лечь отдохнуть. Потом снова встала и открыла их. Задернутые шторы при свете дня означали смерть. Погода все еще стояла хорошая – надо пустить лучи солнца в комнату. Но они в нее не попадали почти: комната Джоанны находилась не на солнечной стороне дома. Она забралась в постель в нижнем белье, и закрыла глаза, и тотчас увидела, как на экране, ужасную лошадиную голову: ободранный череп, старые стертые зубы, пустые глазницы и костлявые челюсти, из которых струилась бледная красновато-розовая кровь – наверняка такого цвета у нее изнутри веки, – кровь стекала по костям кремового цвета, по старым-престарым костям. Это потеря зуба пробудила примитивные страхи, строго сказала себе Джоанна, открыла глаза и сквозь мокрую пелену разглядела ламбрекен, туалетный столик, шелковый абажур. Снова закрыв глаза, она увидела только красновато-розовые вихри в качающихся волнах. Вздохнув, она погрузилась в сон.

* * *

Из ближней комнаты слышались голоса. Обиженные, рассерженные, они так и лились без умолку, как неугомонный ручей, журчащий среди камней, с ходу

обегающий вросшие в дно препятствия. Была в них легкость давней привычки и разрушительная сила новоиспеченного гнева. Слов Джоанна разобрать не могла, только тон, от которого у нее начало покалывать в плечах, – у первобытных людей там были волосы, сбритые веками цивилизации. Слышала она и другие звуки: сердитый звон чайной чашки о блюдце и один раз, совершенно точно, как в сердцах кто-то шмякнул утюг об гладильную доску. Сон и пульсирующая зубная боль на какое-то время отгородили ее от них, но в конце концов ей пришлось признать, что она уже не спит и что звуки ссоры никуда не делись; от них невозможно было избавиться, как от давешней лошадиной головы, открыв глаза. Она встала и прошлась взад-вперед по спальне, а голоса в ближней комнате становились то громче, когда она приближалась к ней, то тише, когда отходила. Джоанна очень четко представляла себе эту несуществующую комнату: все в пыли, стол, два стула, газовая плита и высокое закрытое окно, до которого не дотянуться. На самом деле ближняя комната была гардеробом; Джоанна подошла и открыла двери: там на ни в чем не повинных полках лежали ее ни в чем не повинные ночные рубашки, аккуратно сложенные. А голоса все не смолкали, вещали из-за своей неведомой стены. «Я выставлю дом на продажу», – произнесла Джоанна внутрь гардероба, чтобы посмотреть, не прогонит ли ее живой голос эти пыльные голоса. Но они только яростней зашуршали. Доносились отдельные фразы. «Ни тебе уважения… ни тебе воображения…» А потом: «Вот, значит, оно как, с глаз долой – из сердца вон…» А потом тишина. Было даже немного странно: почему вообще все должно было замениться тишиной. И надолго ли эта тишина?

* * *

Она выставила дом на продажу. Позвонил агент по недвижимости мистер Мо, и в один из дней рано утром, перед уходом в «Обозрение», Джоанна показала ему все, комнату за комнатой, и наконец сад. Над садом парили стрижи, в кустах пел черный дрозд, розы на перголе издавали тонкий сладостный аромат. Внутри мистер Мо не замолкал ни на минуту. Восхитительный дом, сказал он, нанося, что ему нужно, на желтый лист со своеобразным схематичным планом, – доктор Кестелман так же отмечал на стандартной схеме рта разрушенные или выпавшие зубы Джоанны. Агент вышагивал по комнатам и измерял их своими блестящими черными ботинками, приставляя пятку одного к мыску другого. В некоторых частях дома голоса шипели и спорили даже при нем. Как будто эти кирпичные стены существуют в единстве и неслиянности с некой таинственной гибкой, неразрушимой конструкцией, в которую входят другие комнаты, с другими упрямыми дверьми, с другими видами из окон. Так платье составляет

целое с подкладкой, меж ними неосязаемый просвет. Продать этот милый дом не составит труда, сказал мистер Мо Джоанне, он в прекрасном состоянии, отделан с таким вкусом. Сразу видно, что в нем жили очень счастливо: все такое домашнее, атмосфера хорошая, уж он-то в этом разбирается. Наверно, мисс Хоуп будет тосковать, уехав из этого славного места. А может ли он распознать плохую атмосферу, спросила Джоанна. Конечно да, заверил он ее. Это как запах засорившейся канализации, бывает, но очень редко. У него был клиент, который даже вызывал заклинателя, чтобы изгнать бесов. Гнев и ненависть прямо-таки сочились изо всех щелей. Переступаешь порог и понимаешь: холодно, повеяло сыростью. А здесь чувствуется атмосфера любви и уважения, это как полировка на хорошей мебели. Джоанна сказала, что собирается путешествовать. Что никогда не хотела сидеть на месте. Это был дом матери, так мать представляла себе… Что? именно мать представляла, Джоанна сказать не смогла. А мистер Мо не стал расспрашивать. Приятный отдых за границей, несомненно, пойдет ей на пользу, заверил он, а потом он поможет ей найти славную двухэтажную квартиру, ее куда проще поддерживать в порядке.

* * *

Майк отыскал ее среди шкафов с архивами «Обозрения», она плакала. Джоанна не призналась, что искала их официальный отчет о дороге в североафриканской пустыне, в котором на самом деле говорилось, что ее вообще не нужно было строить, она мало кому нужна. Она вспоминала, как они смотрели на близкие яркие звезды, как торговались на рынке, как жарко было в джипе. Майк принес ей пластиковый стаканчик с кофе – пить невозможно, но все равно приятно, приобнял за плечи.

– Старушка ты моя бедная, – сказал он, но она не обиделась, потому что именно так он говорил, когда ее покусали москиты и на ступнях вздулись волдыри. – Бедная моя старушка Джо. Что случилось?

– Я выставила дом на продажу.

– Не слишком ли скоропалительно?

– Он мне не нужен. Я все время слышу, как в ближней комнате ругаются родители.

Она не ждала, что он поверит, но, произнеся это вслух, почувствовала, что ей стало легче.

– Ты много для них сделала. Их больше нет. И теперь у тебя может быть свой собственный дом.

Если бы у меня когда-то был свой дом… мы бы сейчас здесь не сидели как друзья… Она сказала:

– Меня не оставляет ощущение, что мать с отцом там. Я их слышу.

– Тебе нужно сменить обстановку.

– Да, нужно. Как раз хотела спросить. Поинтересоваться. Все эти годы я жила надеждой, верила, что смогу отправиться куда-нибудь снова, еще в одну дальнюю полевую поездку, но, наверно, это невозможно.

– Вообще-то, – осторожно начал Майк, – заграничные поездки приберегают для крепких молодых людей, несемейных к тому же. Ты же знаешь, как это все устроено. Но я вот что подумал. Вдруг ты заинтересуешься. Не самый писк, конечно, но зато смена обстановки. Не хочешь поехать в графство Дарем? Есть у нас проект, мы смотрим, приживется ли новая мелкая промышленность в старых шахтерских деревнях. Сейчас это направление перспективно. Поговоришь с работягами, опросишь местных плановиков. Как тебе?

Африканская луна потускнела, и горизонт схлопнулся, как подтяжки. Что ж…

– Задача не из простых.

– Да. Поупражняешься в старых приемах полевой работы, а то и новый путь проложишь, а? И от голосов сбежишь.

– Им это не понравится.

– Не глупи. Я устрою тебе ужин с Протеро, он у нас по финансовой части, и мы отправим тебя на следующей неделе.

* * *

Вечером перед отъездом в Дарем Джоанна довольно долго пробыла в оранжерее. Растения молчали, жили своей жизнью. Миссис Стиллингфлит будет приходить и ухаживать за ними, пока дом не продадут. У мистера Мо была пара поклевок – так он выразился, – но пока ничего определенного. Слишком мало времени прошло. Обещал связаться, если Джоанна будет нужна. Дарем – не край земли. В центре оранжереи, на полу, виднелось грубое пятно света, а вокруг него популяция растений-призраков – живые отражения среди грубых мерцающих теней от темных квадратных стекол. Небо нависало низко – черным слоем на черных стенах и крыше, плотным под стать самому стеклу. Побеги гибко и изящно свисали с невидимых подпорок: ветви жасмина с листьями, похожими на перья, спиральные завитки страстоцветов – маленькие, в себе заключенные джунгли, все аккуратно сформировано, живет воедино. Скамьи были заставлены поддонами с мелким гравием, на которых стояли растения в горшках, душисто курились холодным лунным паром. Джоанна походила между ними, где-то отрывая сухой лист, где-то убирая завядшие цветки. Некоторые процвели, никем не замеченные, ведь она не была здесь со смерти матери. Вот рождественники и их детки, любимчики Молли. «Я должна заботиться о своих детках», – сказала мать уже через неделю после того, как они развеяли прах Дональда, а ведь раньше она мужа высмеивала, когда он хвастался, какие они крепкие и как их много. И правда, детки, сказала тогда Молли. Ну не разумные ли создания, все у них идет своим чередом. Глядя на самое большое растение – оно было теперь все набухшее и пушистое, со множеством маленьких, пухлых отростков-паучков в паутине мягких серебристых волосков, – Джоанна нутром почувствовала, что жить ему не слишком удобно. Рождественник разросся неравномерно, скосился на один бок, громоздко нависал над краем горшка. Осторожно она отломила и пересадила несколько молодых «паучков», накопав латунным совком Молли песчанистой, суховатой почвенной смеси из бачка, где смесь хранилась. Ни скрипа, ни перешептываний Джоанна не услышала. Рождественник «джоанна хоуп», хоть и напоминал кактус, кактусом не был. Он нуждался в обильном поливе, хорошей подкормке и питательном грунте, как любое другое цветущее растение. Летом он, конечно, не цвел: все шло в рост. Джоанна взяла в руки один из горшочков с рождественником, названным в ее честь. У него были странные, неуклюже согнутые отростки, состоящие из сегментов, расположенных под небольшим углом друг к другу. Нижние сегменты были темно-зеленого цвета и с бугорками. Верхние – бледнее. Самые новые, размером, наверно, с ноготь мизинца Джоанны, блестящие, крепкие, так и розовели, подсказывая, какими будут, если повезет, в середине зимы цветы – лососево-розовыми. Из-за этого оттенка и крючковатого, зубчатого кончика

сегмент напоминал челюсть какого-то морского создания; сходство усиливалось короткой бахромой волосатых усиков, которые возникали там, где очередной новый сегмент присоединялся к старому; и так, неизменно повторяясь, прирастали стебли или отростки. Усики эти были, конечно же, воздушными корешками. Если отломить один из таких сегментов, нежно, с корешками и всем остальным, и посадить его плотно в новый горшок с новой землей, из него получится еще одно растение, потемнеет и растеряет полупрозрачную розоватость, нарастит сегменты. Некоторые из рождественников наверняка были частью тех, которые отец сам формировал, подкармливал и поливал. Вместе же они являли собой своего рода вечность, предсказуемую, цикличную, не меняющую ни форму, ни цвет. Розовые сегменты с новоиспеченными зубчатыми краями напомнили ей молочные зубы; но после молочных вырастают коренные, а после коренных остается только зарастающая дыра в десне. Джоанна выбрала маленькую, скромную на вид «джоанну хоуп», поселенную – наверняка руками Молли – в бледно-синий пластиковый горшок, и прихватила с собой в спальню. Рождественник вел себя тихо и к тому же был живой. Его вполне можно взять в дорогу, вывезти из этого дома в Дарем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25016931&lfrom=201227127) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

Перевод И. Зубановой

2

Страсть, обожание (нем.).

3

Персонажи произведений У. Шекспира, Л. Толстого, Дж. Хейер, Дж. Остин. (Здесь и далее примеч. перев.)

4

Афоризм, острота (фр.).

5

Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Действие IV, сцена 5. Перев. Н. Маклакова (1880).

6

«Ода к греческой вазе» (1819) Дж. Китса цитируется в переводе В. Потаповой.

7

Так вот, передо мной в одну глухую ночь

Предстала мать моя Иезавель неслышно.

Она, как в смертный час, была одета пышно…

(Жан Расин. Гофолия. Акт II, явл. 5. Перев. Ю. Корнеева)

8

Перевод И. Зубановой

9

Псалом 38, слова 3-й части Немецкого реквиема И. Брамса.

10

Перевод О. Петровой

11

Кингсли Уильям Эмис (1922–1995) – английский прозаик, поэт, критик.

12

Сильвия Плат (1932–1963) – американская поэтесса и писательница.

13

Перевод М. Талачёвой

14

Порошок, который растворяют в теплом молоке и принимают на ночь пожилые люди в качестве успокоительного средства.

15

Клифф Торбурн (р. 1948) – канадский профессиональный игрок в снукер.

16

Шекспир У. Ричард II. Акт 5, сц. 5. Перев. М. Донского.

17

Другое название – зигокактус, декабрист или шлюмбергера; кактус без колючек, который не переносит жару и очень любит влагу.

18

Лесная долина в Шотландии, в области Стерлинг.

19

Тот, кто утомляет долгим скучным рассказом: по названию произведения С. Т. Кольриджа «The Rime of the Ancient Mariner», в разных переводах «Поэма о старом моряке» или «Сказание о старом мореходе».

Купить: https://tellnovel.com/antoniya-bayett/prizraki-i-hudozhniki-sbornik-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити